

**РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК**  
**ИНСТИТУТ НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ**  
**ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ НАУКАМ**

**ВОЙНА И АНТИЧНОЕ ОБЩЕСТВО**  
**(Современная зарубежная историография)**

**Реферативный сборник**

**Москва 2004**

ББК 63.3(0)32  
В 61

Серия  
«Всеобщая история»

*Центр социальных научно-информационных  
исследований*

Отдел отечественной и зарубежной истории

Редакционная коллегия:

*Медовичев А.Е. (отв. ред.), Твердохлеб А.А., Уварова Т.Б.,  
Ястребицкая А.Л.*

В61

Война и античное общество (современная зарубежная историография): Реф. сб. / РАН ИНИОН. Центр социал. науч.-информ. исслед. Отд. отеч. и зарубеж. истории; Редкол.: Медовичев А.Е. (отв. ред.) и др. — М., 2004. — 136 с. — (Сер.: Всеобщая история).  
ISBN 5-248-00198-6

В сборнике представлены исследования ряда ведущих зарубежных историков (Дж.Рича, Л.Кеппи, Р.Биллоуза, С.Окли, Т.Корнелла, С.Мэттен и др.), посвященные изучению роли войны в античном (греко-римском) мире как фактора, во многом определявшего формирование и последующие трансформации социально-политической структуры, идеологии и культуры греческих полисов, эллинистических монархий, Римской республики и Римской империи. Важным направлением зарубежных исследований, отраженным в рефератах сборника, является проблема римского империализма, современный подход к которой характеризуется стремлением выяснить реальное соотношение военно-стратегических, экономических и ментально-психологических мотивов римской имперской геополитики.

ББК 63.3(0)32

ISBN 5-248-00198-6

© ИНИОН РАН, 2004

## СОДЕРЖАНИЕ

Введение .....	4
Война как культурный и социальный фактор: Очерки по изучению роли войны в античном мире.....	26
<i>Боуден Х.</i> Гоплиты и Гомер: Война, культ героя и идеология поли- са .....	34
<i>Рилл Т.</i> Война, рабство и колонизация в ранней Греции.....	40
<i>Миллетт П.</i> Война, экономика и демократия в классических Афинах.....	45
<i>Фоксхолл Л.</i> Земледелие и война в Древней Греции .....	50
<i>Ходкинсон С.</i> Война, богатство и кризис спартанского общества .....	56
<i>Биллоуз Р.А.</i> Цари и колонисты: Аспекты македонского империа- лизма .....	62
<i>Окли С.</i> Римское завоевание Италии .....	69
<i>Рич Дж.</i> Страх, алчность и слава: Причины римской агрессии в эпоху средней республики .....	75
<i>Розентейн Н.</i> Impregatores victi: Военное поражение и аристокра- тическое соперничество в средней и поздней республике .....	83
<i>Паттерсон Дж.</i> Военная организация и социальные перемены в поздней Римской республике.....	90
<i>Корнелл Т.</i> Конец римской имперской экспансии.....	96
<i>Вулф Г.</i> Римский мир .....	108
<i>Мэттен С.П.</i> Рим и его противник: Имперская стратегия в эпоху принципата.....	115
<i>Спейдел М.П.</i> Верхом за Цезарем: Конная гвардия римских импе- раторов .....	129

## ВВЕДЕНИЕ

История античного мира оставляет мало сомнений в исключительно важной роли войны и военной экспансии как явления, оказывавшего наиболее комплексное воздействие на греческое и римское общество, во многом определявшего социальный облик, экономику, политическую структуру, идеологию и культуру греческих полисов, эллинистических монархий, Римской республики и Римской империи. Античными мыслителями война рассматривалась как естественный и законный способ приобретения собственности, может быть, более естественный и, несомненно, более благородный, чем торговля. Война считалась также разновидностью охоты, которая, в свою очередь, трактовалась как отрасль военного искусства. А это предполагало, что, как писал Аристотель, «охотиться следует как на диких животных, так и на тех людей, которые, будучи от природы предназначенными к подчинению, не желают подчиняться; такая война по природе своей справедлива», — полагал греческий философ («Политика», I, 1256b). Соответственно, господство эллинов над варварами (т.е. над всеми негреками) считалось также справедливым, поскольку варвар и раб в сознании греков были по природе своей понятиями тождественными («Политика», I, 1252a).

Этот аспект идеологии и практики греческой экспансии на основе анализа литературных и археологических источников, характеризующих ранний этап так называемой Великой греческой колонизации, рассматривается в статье Т.Рилл, реферат которой публикуется в данном сборнике. Как показывает автор, изначальной целью греческой экспансии в Средиземноморье и Причерноморье были не столько торговля или обретение новых, пригодных для земледелия земель, сколько заурядный грабеж прибрежных территорий, получивший систематический характер.

При этом люди, «варвары», служили главным объектом захвата во время пиратских рейдов эллинских мореходов, а первые колониальные поселения («апойкии») были по сути преимущественно лагерями пиратов, базами для их набегов в глубь территории и грабежа на море. Т.Рилл доказывает, что война («труд копьем») была в греческом мире своеобразным «способом производства», игравшим важную роль в обеспечении жизнеспособности древнегреческого общества в период формирования полисов. Сам по себе этот вывод автора, разумеется, не является каким-то новым открытием. В отечественной историографии уже давно подчеркивался тот факт, что без притока извне материальных ценностей и людских ресурсов, которые давала война, античная экономика в принципе не могла нормально функционировать (см., например, 5, с. 155). Однако Т.Рилл, как кажется, справедливо указала на те мотивы Великой греческой колонизации, которым прежде не уделялось должного внимания.

Структурообразующая роль войны в греко-римском мире обнаруживается уже при анализе базовой модели античного государства — греческого полиса и его западного аналога, римско-италийской *civitas*, представлявших собой (в идеале) локализованную в городе и по-военному организованную общину граждан — земельных собственников, которая выступала в роли правящей корпорации (см.: 2, с. 465; а также в порядке сравнения: 17, с. 6; 21, с. 8–10; 24, с. 106–107). При этом собственность граждан на землю и рабов была гарантирована самим существованием полиса как общины, а сохранение последней, в свою очередь, было гарантировано прибавочным трудом членов общины в форме военной службы (2, с. 467; 24, с. 57). Этим объясняется отчетливо выраженный милитаризированный характер полиса, проявляющийся, прежде всего, в тесной взаимосвязи, даже совпадении, его политической и военной организации, т.е. совпадении (в принципе) коллектива земельных собственников, народного собрания как высшего органа власти полиса и военного ополчения граждан (1, с. 24). Соответственно, война для такой общины, как справедливо отмечал в свое время К.Маркс, была «той важной общей задачей, той большой совместной работой, которая требуется либо для того, чтобы захватить объективные условия существования, либо для того, чтобы захват этот защитить и увековечить» (2, с. 465).

При столь тесной интеграции в античном полисе военной сферы и сферы социально-политической изменения в одной из них неизбежно приводили к более или менее существенной трансформации всей структуры. При этом война, как фактор крайне динамичный по своей природе,

стимулируя перемены в военной организации полиса, тем самым инспирировала перестройку остальных элементов системы. Эту взаимосвязь, как и приоритет в ней военной сферы, уловил еще Аристотель — один из ведущих теоретиков полиса среди античных мыслителей. Так, форма политического строя в греческих государствах, по его мнению, обычно была обусловлена характером главной военной силы этих государств («Политика», IV, 1297b). Соответственно, господство аристократии в Греции в период ранней архаики он объяснял преобладанием на полях сражений конницы. Тогда как в дальнейшем рост значения тяжеловооруженной пехоты повлек за собой участие в государственном управлении большего числа граждан и установление первичной формы демократии (или «политии», по терминологии самого Аристотеля).

Вслед за Аристотелем многие современные исследователи также связывают процесс демократизации в Греции с радикальным переворотом в военном деле в VII–VI вв. до н.э., с созданием фаланги гоплитов. Фаланга, представлявшая собой тесно сомкнутый строй воинов в унифицированном вооружении, подчиненных общей дисциплине, не допускала каких-либо самостоятельных действий или проявлений доблести вне рамок коллективных усилий. По существу, она была единой «боевой машиной», а каждый отдельный гоплит — лишь одним из ее механизмов, к тому же легко заменимым. Поэтому в науке фаланга часто рассматривается как наиболее адекватное отражение в военной сфере классической модели греческого полиса. Подчеркивается также тесная взаимосвязь возникновения и развития обоих феноменов (1, с. 24–25; 4, с.188; 6, с.171–172; 14, с. 67).

Возникновение фаланги в современной историографии датируется временем от второй половины VIII до середины VII в. до н.э. При этом большинство ученых относят ее появление к VII столетию на том, в частности, основании, что первое ее реалистическое изображение встречается в вазовой живописи этого времени (речь идет о знаменитой протокоринфской «вазе Чиги», датировка которой, впрочем, варьирует в пределах от середины до конца VII в. до н.э.). В сборнике приводится аргументация тех исследователей, которые, как Х.Боуден (см. реферат в данном сборнике), относят возникновение гоплитской тактики, т.е. боя фалангового типа, к VIII в. до н.э. в связи с потребностями формирующихся полисов зафиксировать свои границы там, где они соприкасались на равнинах. Фаланга, т.е. линия стоящих плечом к плечу гражданвоинов, являлась, таким образом, зримой фиксацией границы полиса,

материальным воплощением идеи единства его граждан, сплоченных решимостью эту границу защитить. Именно поэтому фаланга была идентична полису, и только в контексте полиса гоплитская тактика имела смысл, полагает Х.Бouden. Все это, с его точки зрения, объясняет то парадоксальное явление, что в такой гористой стране, как Греция, сложилась форма вооруженной борьбы, пригодная только для равнин. Основные, наиболее характерные ее черты представлены уже в «Илиаде» Гомера, изображающей, как считает исследователь, мир греческих полисов, в котором «гоплитская война» и тесно связанный с ней культ героев занимали центральное место.

В рамках фаланги нивелировались военные и социальные различия между аристократией и состоятельными крестьянами, способными приобрести за собственный счет тяжелое гоплитское вооружение. Таким образом, чисто военно-технические, на первый взгляд, нововведения имели огромные политические последствия. Прежняя военная элита утратила монополию на использование силы и была вынуждена разделить не только свои традиционные военные обязанности, но и, в конечном счете, политическую власть с более широким слоем людей — вооруженных крестьян-гоплитов (20, с. 21–24; 14, с. 41, 67; 22, с. 33). Результатом этой «гоплитской революции» явилось возникновение политической системы, которую иногда определяют как «гоплитская демократия» (12, с. 157–158) или «гоплитская полития» (4, с. 118), имея в виду то, что наибольший политический вес в ней имели граждане, служившие в тяжеловооруженной пехоте, или как «крестьянская демократия» (24, с. 101–119), когда акцент делается на социальном облике гоплитов. Тем самым подчеркивается ограниченный (умеренный) характер ранней демократии, при которой объем политических прав гражданина зависел от его военного статуса, а тот, в свою очередь, определялся уровнем его материального благосостояния. Таким образом, ценовый принцип структурирования гражданского коллектива выступал в качестве специфической черты раннедемократического полиса.

Наиболее известной моделью подобного типа гражданской общины и вместе с тем характерным примером «проекции в военную сферу социальной структуры полиса» (1, с. 25) могут служить Афины рубежа VI–V вв. до н.э. с их имущественными «классами», введенными еще Солоном в начале VI в. О военной основе солоновской классификации свидетельствуют выделение особой категории «всадников» и разделение основной массы демоса на две категории: состоятельных крестьян — «зевгитов» и

малоземельных и безземельных — «фетов». Различие между ними фактически, как принято считать, было обусловлено способностью первых и неспособностью вторых приобретать гоэлитское вооружение. Наличие последнего делало зевгитов («средний класс» в зарубежных исследованиях) равными в военном, а следовательно, и в политическом отношении аристократии и ставило их неизмеримо выше лишенных вооружения фетов. Ничтожной (или вообще никакой) военной роли последних соответствовала и ограниченность их политических прав. В частности, им был закрыт доступ к каким-либо общественным должностям.

Дальнейшая демократизация афинского общества, по мнению большинства исследователей, была вызвана коренными переменами в структуре вооруженных сил Афин, происшедшими в ходе Греко-персидских войн. Возникновение около середины V в. до н.э. режима так называемой радикальной (или «крайней», по терминологии Аристотеля) демократии обычно связывают с созданием самого мощного в Греции военного флота, который стал главным инструментом имперской гегемонии Афин. Поскольку экипажи боевых кораблей — триер формировались из беднейших слоев граждан, то повышение их военной роли обусловило и рост политического влияния. Здесь, таким образом, снова обнаруживается взаимосвязь военной и политической организации полиса (1, с. 25; 12, с. 157–158; 19, с. 83), а война приобретает роль движущей силы в формировании социальных и политических структур.

В последнее время, однако, эта логически стройная схема стала подвергаться критике. Об этом, в частности, свидетельствует опубликованная в сборнике «Война как культурный и социальный фактор: Очерки по изучению роли войны в античном мире» статья Х. ван Вееса. Автор на примере тех же Афин пытается доказать отсутствие связи между военной ролью и политическим статусом гражданина греческого полиса, а также ошибочность традиционного представления о гоэлитской фаланге как о социально однородной военной силе, представлявшей собой главным образом вооруженный «средний класс», т.е. зевгитов. С точки зрения Вееса, в Афинах и, вероятно, не только в Афинах, гоэлиты экономически и политически в большинстве своем стояли ниже среднего уровня. В массе своей они принадлежали к той части фетов, которая, как он считает, была все же способна приобретать вооружение в силу его относительно дешевой стоимости в сравнении с их доходами. Зевгиты, по его мнению, образовывали лишь верхний слой гоэлитов, примыкавший по уровню благосостояния к афинской элите, и только они обладали пол-



ными политическими правами. Но тогда ограниченность прав основной массы гоэлитов-фетов делает весьма проблематичным понятие «гоэлитская демократия» и позволяет оценить политический строй Афин до середины V в. до н.э. как гораздо менее демократический, чем принято считать.

Впрочем, необходимо отметить, что материалы источников все же не дают оснований для столь радикального пересмотра традиционной концепции. Очевидно, именно поэтому X. ван Веес строит свою теорию главным образом на основе собственных подсчетов, исходя из крайне ограниченного, в силу характера источников, числа цифровых данных, иногда сомнительной ценности, а также прибегая к разного рода допущениям. Свой основной тезис о том, что военный статус сам по себе не гарантировал политический вес того или иного социального слоя граждан, он подкрепляет соображениями относительно причин радикализации демократии в Афинах в середине V столетия. По его мнению, радикальная демократия явилась не столько следствием усиления роли военного флота, сколько результатом введения около 450 г. до н.э. системы оплаты общественных должностей, что позволило занимать их представителям трудящихся классов. Однако, как представляется, подобная мера вряд ли могла быть осуществлена до того, как неизмеримо возросла военная роль низшего разряда граждан, вклад которых в военное могущество Афин стал наиболее весомым (см.: 12, с. 157–158; 19, с. 83). Наличие сильного военного флота определяло всю стратегию имперской экспансии Афинской Архэ, а режим радикальной демократии служил гарантом перераспределения имперских доходов в пользу обслуживавших этот флот беднейших слоев демоса. Все расходы на проведение военных кампаний несли богатые граждане, тогда как масса народа пользовалась всеми плодами афинской гегемонии над едва ли не половиной греческого мира. Разумеется, высшие классы также имели некоторые выгоды, хотя бы в том плане, что поступление огромных доходов извне в виде так называемого «фороса» — дани, выплачиваемой афинскими «союзниками», — сдерживало финансовые претензии демоса к своей богатой элите. Утрата этих доходов после поражения Афин в Пелопоннесской войне (431–404 г. до н.э.) и распада их «империи» означала рост бремени военных расходов для богатых афинян, за счет которых в IV в. до н.э. и осуществлялось главным образом финансирование военных экспедиций, а следовательно, и выплата жалования их участникам. Таким образом, война в демократических Афинах, как считает П.Миллетт

(см. реферат в данном сборнике), служила важным инструментом перераспределения богатства внутри полиса. И именно этим, с его точки зрения, в значительной степени объясняется «пацифизм» части афинской элиты в IV в. до н.э.

Пелопоннесская война справедливо считается переломным событием в греческой истории. И если она, возможно, не была причиной кризиса классического греческого полиса, то по крайней мере необычайно ускорила его наступление. Сам кризис был теснейшим образом связан с разложением традиционной военной организации полиса и в значительной мере был этим разложением обусловлен. Абсолютно интегрированная прежде триада качеств члена гражданского коллектива полиса — гражданин, земледелец, воин — начала распадаться. В IV в. до н.э. война все более становится сферой деятельности профессиональных воинов и командиров, связь которых с полисом теперь выражается в зафиксированной соглашением сумме жалования. На смену гражданину-воину приходит воин-наемник. Соответственно, финансовый аспект войны приобретает весьма важное значение. Зависимость успеха боевых действий от объема их финансирования в полной мере уже проявилась в годы Пелопоннесской войны, особенно на заключительном ее этапе, когда победа Спарты была обеспечена главным образом благодаря массивной финансовой помощи со стороны Персии, не менее спартанцев заинтересованной в уничтожении Афинской морской державы.

В целом по объему задействованных людских и финансовых ресурсов, по масштабу и способу ведения боевых действий Пелопоннесская война демонстрирует почти полный разрыв с принципами традиционной полисной войны гоэлитского типа, отчасти представлявшей собой формализованный агон, т.е. подобие спортивного состязания. В идеале «гоэлитская война» предполагала короткий рейд на территорию соседнего полиса и одно решительное столкновение с гоэлитами противника. Такого рода войны, как правило, не сопровождалась серьезными людскими и материальными потерями и практически не требовали финансовых затрат. Они были органично вписаны в полисную структуру и прекрасно приспособлены к характеру, возможностям и сезонному ритму хозяйственной жизни мелкого землевладельца — гоэлита (24, с. 59). Пелопоннесская война со всеми ее особенностями была крайне разрушительна для самой природы полиса. Уже принятие афинянами в начале войны стратегического плана Перикла означало сознательное принесение в жертву интересов афинских крестьян, имущество которых обрека-

лось на разграбление и уничтожение войсками пелопоннесцев. Вне зависимости от реальных объемов ущерба следствием реализации этой стратегии, как показала Л.Фоксхолл (см. реферат в данном сборнике), должен был стать раскол гражданского коллектива, т.е. той самой «правлящей корпорации», от сплоченности которой зависело само существование полиса как полиса.

Примечательно, что Пелопоннесская война имела весьма негативные последствия не только для побежденных Афин, но и для победившей Спарты. Причем для последней они в конечном счете были даже более катастрофичны, и, возможно, именно в силу того, что здесь степень интеграции военной и политической структур государства была максимальной в греческом мире. Гражданин в Спарте был только воином, только как воин он мог быть гражданином. «Гоплитский класс» охватывал весь гражданский коллектив, который представлял собой абсолютно замкнутую, элитарную военную касту. А сама Спарта была, по существу, военным лагерем на враждебной территории (см.: 3, с. 77, 119). Все структуры «общины равных» были направлены на подавление подвластного илотского населения и на поддержание единства в собственной среде, которое достигалось путем тотальной регламентации и унификации всего образа жизни. Экономической основой равенства «равных» была система равных клеров — участков земли с приписанными к ним илотами. Впрочем, как теперь установлено, равенство спартиатов (в том числе экономическое) было скорее декларативным, чем фактическим (см.: 3, с. 266–267; 13, с. 80–96).

Пелопоннесская война и серия войн, которые Спарта почти непрерывно вела еще в течение более 30 лет за сохранение своей гегемонии в Греции, по мнению Ст.Ходкинсона (см. реферат в данном сборнике), не были причиной кризиса спартанского общества, неблагоприятные тенденции в развитии которого наметились еще задолго до этого. Однако длительные внешние войны и борьба за создание «империи» крайне обострили кризисные явления. Они резко ускорили процесс концентрации земельной собственности и, как следствие, сокращения числа полноправных граждан до уровня, несовместимого с безопасностью государства. В значительной степени, как показал Ст.Ходкинсон, это было результатом изменения самого характера войн. В зарубежных военных кампаниях, в отличие от войн традиционного типа, как правило, принимала участие лишь небольшая группа знатных спартиатов, выполнявших исключительно командирские функции и функции советников полковод-

ца, тогда как основной контингент воинов составляли освобожденные илоты, но главным образом — союзники и наемники. Подавляющее большинство граждан фактически было отстранено от военной службы. Такая ситуация создавала последствия двоякого рода. С одной стороны, снижение военной роли рядовых спартиатов делало их бесполезными в глазах правящей элиты и с политической точки зрения. Утрата спартанским гражданином его основной функции девальвировала, таким образом, и его общественную ценность. С другой стороны, заморские походы, командование гарнизонами в подчиненных Спарте греческих полисах, участие в зарубежных посольствах и неформальных контактах с персидскими сатрапами привели к непомерному обогащению узкого круга знатных лиц. В их руках скопились огромные ценности, полученные в виде военной добычи, за счет вымогательств, взяток, присвоения казенных денег, о чем свидетельствуют все античные источники. Приобретенные богатства в силу существовавшего в Спарте запрета на внешние проявления роскоши могли вкладываться только в расширение земельных владений путем скупки (в скрытой форме) участков более бедных сограждан. Результатом этого процесса стал раскол прежде относительно монолитного сообщества на две неравные части: малочисленную праздную элиту, владевшую всеми богатствами страны, и столь же праздную (в силу невозможности заниматься каким-либо другим трудом, кроме военного), люмпенизированную массу полуграждан, так называемых гипомейонов («опустившихся») (3, с. 496).

Таким образом, оба примера военной экспансии и попыток создания «империй» (афинский и спартанский) продемонстрировали полную неспособность классического греческого полиса к созданию сколько-нибудь устойчивых и обширных территориальных образований. Чрезвычайная корпоративная замкнутость его гражданского коллектива препятствовала возникновению сколько-нибудь более тесно интегрированных сообществ, чем военные союзы. Все попытки такой корпорации расширить сферу своего влияния или трансформировать союз в организацию гегемонистского типа рано или поздно встречали коллективный отпор со стороны других, аналогичных по своему характеру корпоративных сообществ.

На фоне этих многочисленных и безуспешных попыток опыт создания великой средиземноморской державы республиканским Римом, также государством полисного типа, выглядит действительно уникальным. Он вызывал удивление и восхищение современников, которые пы-

тались найти объяснение этому казавшемуся им загадочным феномену. Уже в середине II в. до н.э. грек Полибий, историк и, вместе с тем, военный и политический деятель Ахейского союза, предпринял написание своего грандиозного труда — «Всеобщей истории» — с целью уяснить, «каким образом и при каких общественных учреждениях почти весь известный мир подпал единой власти римлян в течение неполных пятидесяти лет» (I. 1.5). При этом он внимательно исследовал особенности государственного и военного устройства Рима, систему римского воспитания, религиозные установления, сопоставляя их с соответствующими институтами других народов. Неоспоримое превосходство римлян Полибий обнаружил во всем, но особое одобрение у историка вызвали их государственный строй, а также исключительная способность перенимать все лучшее из чужеземных учреждений и обычаев.

Подход современных исследователей к проблеме римской военной экспансии и империализма характеризуется глубоким анализом не только структурных особенностей римского полиса, но и побудительных мотивов римской агрессии, относительной роли различных экономических, военно-стратегических, идеологических и психологических факторов. Подчеркиваются также исключительная по сравнению с греческими полисами открытость римского общества, его способность легко интегрировать различные этнокультурные элементы, сохраняя в то же время свою идентичность.

Подобно всем греческим полисам, но, возможно, в гораздо большей степени, чем любой другой из них, Рим был прежде всего сообществом воинов. Но на протяжении большей части истории республики военная служба никогда не рассматривалась как привилегия или обязанность какой-либо определенной социальной группы, а распространялась практически на всех граждан. Отражением этого крайне важного факта является так называемая центуриатная система организации гражданского коллектива, введенная, согласно античной традиции, в середине VI в. до н.э. предпоследним римским царем Сервием Туллеем вместе с институтом ценза. В этой системе в полной мере воплотились принцип идентичности военной и политической организации полиса, а также приоритет именно военной сферы.

По своему характеру и задачам центуриатная реформа в целом соответствовала аналогичным по типу преобразованиям в греческих полисах (например, реформам Солона и Клисфена в Афинах). Как считают большинство исследователей, введение центуриатной организации пре-

следовало главным образом, если не исключительно, военные цели (см.: 7, с. 18; 10, с. 30; 16, с. 34; 18, с. 219; 23, с. 75–78; 9, с. 184). Основным смыслом ценза заключался в разделении граждан на определенное число военных разрядов, пеших и конных. Цензовые «классы», таким образом, были прежде всего классами воинов, вооружение которых и, следовательно, роль в сражении зависели от их имущественного разряда (см.: 18, с. 87, 219). Об этом же говорят и сами термины «класс» (*classis*), означающий «военный контингент», т.е. тех, кто созывался сигналом трубы (*classicum*), а значит, и его подразделение — центурия (*centuria*), буквально «сотня», (11, с. 149; 9, с. 184).

Эта классификация граждан-солдат на имущественной основе одновременно служила политическим целям в качестве базовой структуры народного собрания (*comitia centuriata*), а также выполняла фискальные задачи в качестве системы, обеспечивающей сбор налога на имущество (*tributum*). Во всех трех своих аспектах — военном, политическом и финансовом — центуриатная организация была воплощением принципа так называемого «геометрического» или «пропорционального» равенства, поскольку ставила объем прав и обязанностей граждан в прямо пропорциональное соотношение с размером их имущества (18, с. 57–58). С точки зрения античных теоретиков полиса, такой тип равенства имел неоспоримое преимущество по сравнению с простым «арифметическим» равенством, свойственным крайним демократиям.

Суть «конституции» Сервия Туллия, по мнению французского исследователя К.Николе, лучше всего передает отрывок из «Римских древностей» Дионисия Галикарнасского (4. 19), согласно которому необходимые для проведения той или иной военной кампании число солдат и сумма денег распределялись между всеми центуриями таким образом, что каждая из них должна была вносить одинаковую сумму налога и выставлять равное число воинов. Центурии, следовательно, обладали, по видимому, примерно равной налоговой способностью, но, вероятно, сильно различались численностью своих членов. Так, самый богатый, но и, скорее всего, самый малолюдный первый класс выставлял больше центурий, чем все остальные четыре класса. Соответственно, центурия первого класса значительно уступала по количеству граждан центурии любого последующего класса. На практике это означало, что богатые римляне не только несли большее финансовое бремя в пользу государства, но и гораздо чаще привлекались к военной службе, чем менее состоятельные, которые служили реже и по принципу ротации. Однако по-

сколькx в центуриатных комициях голосование происходило по центуриям, а каждая из них имела один голос, то «дискриминация» богатых компенсировалась их действительной монополией на высшие государственные должности и даже на принятие решений. Соответственно, бедняки, свободные от основных общественных обязанностей и финансовых тягот, были лишены и политического влияния. Центуриатная система организации комиций, пишет К.Николe, формально не лишала их права голоса, но практически отстраняла от принятия решений (18, с. 57–58).

Большинство историков справедливо полагают, что в полном своем объеме центуриатная система, как она описана античными авторами, относится к сравнительно позднему времени, к IV–III вв. до н.э., когда она уже утратила непосредственную связь с военной организацией римской гражданской общины (см.: 9, с. 180; 11, с. 149; 16, с. 43; 18, с. 85; 23, с. 78). Однако исходная модель, скорее всего, такую связь имела. Об этом, по их мнению, свидетельствует тот факт, что даже во времена Катона Цензора (т.е. во II в. до н.э.) термины *classis* и *classici* часто еще служили для обозначения граждан только первого класса, тогда как в более раннюю эпоху они, по-видимому, были единственными, кто носил такое название (см.: 9, с.184; 11, с. 149; 18, с. 220). Создание *classis* ученые рассматривают как самый ранний этап реформы, действительно относящийся ко времени Сервия Туллия. Оно было связано с введением в Риме гоплитского вооружения и фаланговой тактики, т.е. с той самой переменной в военном деле, которая в истории Древней Греции получила название «гоплитской реформы» и которая была осуществлена примерно в то же время или несколько раньше (см.: 7, с. 18; 11, с.147; 15, с.17; 18, с. 219; 9, с. 184–185).

Таким образом, суть первоначальной реформы в Риме состояла в том, что из всей массы боеспособных граждан была выделена категория лиц, имущественное положение которых позволяло приобретать тяжелое вооружение. Их совокупность образовала *classis* гоплитов, тогда как остальные оказались *infra classem* (т.е. ниже или вне «класса») и либо вообще освобождались от службы, либо выполняли вспомогательные военные функции. Предполагается также, что гоплитской вооружение и тактика были заимствованы римлянами у италийских греков непосредственно или через этрусков. От греков же была воспринята и сама структура фаланги, базовым подразделением которой был *lochos* («лох»), насчитывавший 100 гоплитов. Соответственно, у римлян он получил название *centuria* (8, с.95). В тактическом плане *classis* образовывал фалангу

гоплитов, а в организационном — единственный в то время легион (*legio*) римской армии, центурии которого являлись вместе с тем и подразделениями *comitia centuriata* — народного собрания (9, с. 182–183).

В дальнейшем, в конце V или в течение IV в. до н.э., в связи с ростом военных усилий Рима из числа *infra clasem* было создано еще четыре класса (II–V) (23, с. 73–78; 18, с. 85, 220; 9, с. 185–187). В результате за бортом «классовой» системы остались наиболее бедные, так называемые *proletarii* или *capite censi*, из которых была образована одна центурия. Все это позволило увеличить число легионов. Служба в них перестала теперь быть монополией только состоятельных граждан, но была распространена на гораздо более широкие слои населения, обладавшие хотя бы небольшим имущественным цензом, т.е., вероятно, на подавляющее большинство взрослых свободных мужчин. Одновременно вводится и солдатское жалование (*stipendium*), внедряются новые типы наступательного и оборонительного вооружения, а также новая тактика. На смену фаланге приходит манипулярный легион, отличающийся максимальной организационной, тактической и технической адаптированностью к характеру боевых действий античной эпохи, что в значительной степени объясняет дальнейшие успехи римской экспансии (см.: 9, с. 188).

Реформированная центуриатная система уже не являлась организационной структурой армии как таковой, а лишь служила кадровой основой для ее формирования по принципу, описанному Дионисием Галикарнасским, как считает К.Николе (18, с. 55). С точки зрения Т.Корнелла, она лишилась даже этой функции, а рекрутирование воинов в легионы производилось по территориальным округам — трибам, как было во времена Полибия (9, с. 188). Вместе с тем, отмечает он, если армия уже и не была вооруженной версией *comitia centuriata*, собрание граждан по центуриям на протяжении всей своей истории сохраняло черты, отражающие тот факт, что оно было, по существу, собранием вооруженного народа (9, с. 195).

К концу V в. до н.э. интенсивность военной деятельности Рима резко возрастает. Опираясь на военные ресурсы Латинского союза, он переходит в наступление на своих ближайших соседей, и первой крупной жертвой его агрессии становится этрусский город-государство Вейи, разрушенный в результате войны 406–396 гг. до н.э. Аннексия его территории сразу почти на 75% увеличила *ager Romanus* и явилась важным фактором усиления римского военного потенциала (9, с. 313–320). С точки зрения С.Окли (см. реферат в данном сборнике), осада Вейев оз-



наменовала существенную перемену самого характера римских войн. Если военные кампании ранней республики были, по сути, как правило, лишь грабительскими рейдами на территорию противника, предпринятыми чаще всего с целью отомстить за набег на римскую территорию, то в IV в. до н.э. военные действия римлян приобретают все более систематический и профессиональный характер. В то же время захват земли и ее последующая колонизация, по мнению С.Окли, становятся главными мотивами римской экспансии.

Рост агрессивности Римской республики на какое-то время был прерван нашествием галлов в 390 (по Варрону) или в 387/6 г. до н.э. (по Полибию). Однако последствия этого рейда, несмотря на всю его разрушительность и взятие самого Рима, на самом деле не были столь катастрофичны, как принято считать (см: 9, с. 322). Уже к концу 360-х годов римляне оказались способны приступить к завоеванию Италии. Роль своеобразного ускорителя этого процесса, по мнению Т.Корнелла, сыграли война Рима с Латинским союзом 341–338 гг. до н.э. и, главным образом, специфическая система взаимоотношений между ними, возникшая в результате конфликта. Урегулирование, навязанное римлянами латинам в 338 г., заложило основы уникальной «конституционной» структуры, обеспечившей в дальнейшем безудержное развитие римской экспансии. Во-первых, римляне теперь вступали в соглашение с каждой потерпевшей поражение общиной отдельно, а не с их совокупностью как прежде. Во-вторых, все они разделялись по различным в правовом отношении категориям. Таким образом, новая «Римская федерация» основывалась на иерархии статусов ее членов, что затрудняло их объединение против Рима (9, с. 348).

Особое значение имели такие институты, как *municipium*, *civitas sine suffragio* и *colonia latina*. Институт *municipium* позволял римскому государству расширять свою территорию и инкорпорировать новые общины без каких-либо перемен в центральной администрации. Путем предоставления общинам статуса *civitas sine suffragio* (т.е. гражданства без права голосования) римляне могли увеличивать численность своих граждан, сохраняя при этом неизменной сущность Рима как города-государства. Наконец, жизненно важное значение имело возрождение института латинской колонии. Правда, латинский статус означал теперь не принадлежность к Латинскому союзу (которого уже не существовало), а определенный комплекс прав и обязанностей в отношениях с Римом. Являясь, по существу, военными гарнизонами, эти колонии в равной мере были и романизированными анклавами в отдаленных регионах, служившими важ-

нейшим фактором консолидации и конечной унификации Италии под властью Рима. Все это создавало почти неограниченные возможности для расширения «Римской Федерации» при сохранении высокой степени ее прочности (см.: 9, с. 351–352; 18, с. 27–28).

Для всех различных в правовом отношении категорий италийских союзников Рима единственной общей обязанностью была поставка воинских контингентов в римскую армию. Это давало в распоряжение Рима огромные резервы военной силы, которые к тому же постоянно возрастали по мере расширения завоеваний и присоединения к федерации все новых общин и выведения все новых колоний. Но эта система давала еще более глубокий эффект. Поскольку военные обязательства были единственной видимой связью между Римом и его союзниками, то, следовательно, пребывание в состоянии перманентной войны являлось необходимым условием самого существования римско-италийского союза (см.: 9, с. 365–366, а также реферат статьи С.Окли в сборнике). При этом италийцы в качестве военных партнеров Рима также получали существенные выгоды от его экспансии, участвуя вместе с римлянами в колонизации конфискованных у врагов земель. Тем самым отчасти компенсировались их прежние территориальные потери, понесенные в предшествующих войнах с тем же Римом.

Исключительно меткую характеристику римской организации завоеваний дал Т.Корнелл, сравнив ее с «криминальной операцией, которая возмещает ущерб, нанесенный своим жертвам путем включения их в банду с перспективой получения доли добычи в последующих грабежах». «Однако, — пишет далее исследователь, — любая криминальная банда неминуемо вскоре распадется, если ее босс вдруг решит прекратить преступную деятельность и “легитимизироваться”». «Эта грубая аналогия, — заключает он, — возвращает нас к уже высказанному положению о том, что римское государство постоянно нуждалось в войне просто в целях самосохранения» (9, с. 367). Таким образом, сам характер возглавляемого Римом объединения, по крайней мере частично, может служить объяснением феномена римского империализма. Эта организация с момента своего возникновения была просто запрограммирована на войну и агрессию.

Успешные завоевательные войны способствовали смягчению социальных противоречий в Римской республике, позволяя улучшать материальное и социальное положение низших классов за счет побежденных народов. Активная колонизация завоеванных земель уже к концу IV в. до н.э. позволила в значительной степени удовлетворить земельный голод рим-

ского плебса и тем самым смягчить остроту долгового вопроса. Об этом, в частности, свидетельствует исчезновение института пехум — формы долговой зависимости, обеспечивавшей рабочей силой хозяйства крупных землевладельцев (см.: 9, с. 330—332, а также реферат статьи С.Окли).

Однако упадок и окончательная отмена пехум к концу IV в. до н.э. предполагает развитие альтернативного источника рабочей силы. Потребность в ней, видимо, уже тогда в основном была удовлетворена за счет рабов, которых во все возрастающем количестве поставляла война. Наличие в Риме в IV в. значительного количества рабов, с точки зрения С.Окли (см. реферат в данном сборнике), подтверждает введенный в 357 г. до н.э. налог на их манумиссию (освобождение). Видимо, отмечает он, должно было совершаться достаточно много актов подобного рода, чтобы государство стало рассматривать их как существенный источник дохода. Источники, повествующие о событиях этого периода, регулярно сообщают о массовом порабощении военнопленных, а это означает, что римская экономика все больше начинает зависеть от рабского труда. Все это, по мнению современных исследователей, делает совершенно неприемлемой старую теорию о формировании рабовладельческой системы экономики в Риме только во II в. до н.э. В то же время рост использования рабского труда в течение IV в. до н.э. сопровождался эмансипацией сельского плебса, что позволяло римскому правительству интенсивнее использовать его на военной службе, расширяя еще больше масштаб завоеваний и усиливая тем самым приговор рабов (см.: 9, с. 333, а также реферат статьи С.Окли). Таким образом, структурные особенности римского общества и его экономики рассматриваются как наиболее фундаментальные причины римской военной экспансии.

К 264 г. до н.э. Рим завершил завоевание Апеннинского полуострова и представлял собой самое мощное государство Средиземноморья, обладающее гигантской (по масштабам Древнего мира) военной машиной. Огромные людские ресурсы позволили Риму выдержать необычайно напряженную войну с Карфагеном, постоянно восстанавливая свои силы после ряда сокрушительных поражений, которые сломали бы большинство других государств. В первые годы Второй Пунической войны, с 218 по 215, Рим мобилизовал в легионы около 108 тыс. граждан, т.е. около 35% от общего их числа. Из них 50 тыс. были убиты в боях. При этом необходимо иметь в виду, что в силу особенностей римской системы набора, действовавшей в то время, главную тяжесть потерь приняли на себя высший и средний классы. В дальнейшем тотальная мобилизация

позволила довести число легионов до 20 и более. В целом же за 16 лет войны Рим лишился не менее 120 тыс. своих граждан. В Новое время потери такого масштаба в относительном исчислении не были известны вплоть до Первой мировой войны. Они составили даже больший процент от всего населения, чем французские потери 1914–1918 гг. (см.: 18, с. 111–112, а также реферат статьи Дж.Рича в данном сборнике). Все это, однако, не помешало Риму сразу после окончания войны с Ганнибалом начать новую серию войн, которые велись в течение всего II в. до н.э. в разных регионах Средиземноморья, иногда на нескольких фронтах одновременно. Впрочем, всплески его военной активности, как показал Дж.Рич (см. реферат в данном сборнике), теперь все чаще перемежались с периодами относительного затишья. Тем не менее тяжесть военного бремени оставалась крайне высокой как в демографическом, так и в экономическом отношении. По мере снижения минимального имущественного ценза она теперь все в большей степени падала на низшие классы. Частые и длительные отлучки крестьян для участия в заморских военных кампаниях оказывали губительное воздействие на их хозяйства, делали мелких земледельцев уникальными объектами для экспроприации и замены рабами (см.: 24, с. 57).

До 170-х годов до н.э. эти негативные процессы в значительной степени тормозила активная колонизация завоеванной Италии. Она давала возможность крестьянам-солдатам восстанавливать свой имущественный и социальный статус, а иногда даже и повышать его. Как отмечает Дж.Паттерсон (см. реферат в данном сборнике), колонизация до некоторой степени обеспечивала вертикальную социальную мобильность или, по крайней мере, поддерживала социальную стабильность в обществе. Однако завершение покорения Северной Италии и, следовательно, прекращение конфискаций земли у побежденных общин означало также прекращение практики выведения колоний и, соответственно, бесплатных раздач участков земли обедневшим гражданам. Тем самым был разрушен бесперебойно функционировавший на протяжении почти 200 лет механизм римской войны, обеспечивавший компенсацию потерь всякий раз на более высоком уровне. В результате аграрный вопрос, временно утративший былую остроту, снова оказался в самом центре политической борьбы. Неспособность и нежелание правящей олигархии решить аграрную проблему в конечном счете и явились главной причиной падения республики в Риме.

Сохранение имущественного ценза для службы в легионах вело к кризису системы комплектования во второй половине II в. до н.э. по ме-

ре того, как все большее число граждан опускалось ниже квалификационного уровня. И это могло играть важную роль в снижении уровня военной активности Рима, которая наблюдается в данный период. В условиях падения численности мелких и средних собственников, традиционно составлявших основу гражданского ополчения, набор Гаем Марием в 107 г. до н.э. добровольцев из числа *capite censi* выглядит естественной, хотя и революционной мерой. Однако из источников не следует, что Марий вообще отменил цензовый принцип набора, как это еще недавно принято было считать. Практика зачисления граждан в армию на основе цензорских списков продолжалась и впоследствии параллельно с вербовкой добровольцев. Но минимальный имущественный ценз был настолько низок, что годным для призыва считался практически любой гражданин. Традиционная процедура набора, вероятно, перестала действовать в условиях хаоса гражданских войн начиная с 80-х годов I в. до н.э. И в поздней республике армии набирались или методом конскрипции, или на добровольных началах, но в любом случае из числа, главным образом, деревенских бедняков (см.: 15, с.62; 18, с. 92–93, 130–132). Тем самым был сделан первый шаг в сторону профессиональной наемной армии. Это, однако, породило кризис всей политической системы, тесно интегрированной с прежней военной структурой, на которой покоилась ее безопасность, но от которой она стала все более отделяться (см. реферат статьи Дж.Паттерсона).

В современных исследованиях римского империализма уже не находит поддержки широко распространенное прежде представление о том, что эпоха республики в целом была временем непрерывной войны и экспансии, которая прекратилась только в период принципата, точнее — в конце правления Августа, который осознал бесперспективность дальнейшей агрессии. Ошибочность этой теории, с точки зрения Т.Корнелла (см. реферат в данном сборнике), состоит именно в предполагаемой неизменности модели войны и империализма на всем протяжении истории Римской республики. Между тем феномен перманентной войны, который был доминирующей чертой римской жизни в IV–III вв. до н.э., уже начал исчезать в первой половине II в. до н.э. В период поздней республики модель войны становится ближе к той, которая преобладает в период ранней империи. Эпизоды крупной империалистической экспансии случаются все более редко. Таким образом, как считает Т.Корнелл, лозунг *Pax Romana* («Римский мир»), ставший одним из

главных компонентов политической идеологии принципата, отнюдь не был радикальным отказом от прежней модели внешней политики.

Кратковременная вспышка военной агрессии на раннем этапе принципата Августа была вызвана необходимостью укрепить позиции нового режима. Когда же политика экспансии выполнила эту свою задачу, она была приостановлена. Однако решающую роль в возобновлении политики *Pax Romana*, по мнению Т.Корнелла, сыграли структурные изменения в римском обществе, главным образом, создание полностью профессиональной армии. Это, с его точки зрения, означало окончательный разрыв с традиционным республиканским идеалом «интегрированного общества», в котором каждый гражданин был одновременно и земледельцем, и воином, и отцом семьи. Легионер эпохи империи, напротив, был только профессиональным солдатом, полностью отстраненным (по крайней мере, формально) от политической жизни, семейных и родственных связей. Структурная перестройка означала, таким образом, переход к «дифференцированному обществу», в котором различные функции, такие как война, управление, религия и т.п., становятся сферами деятельности специализированных групп вместо того, чтобы распространяться на весь гражданский коллектив.

В эпоху классической Римской республики война была частью нормального жизненного опыта каждого римлянина и была глубоко вмонтирована в римскую общественную систему. Республиканские институты были военными по характеру и функциям; религия республики, ее культурные и нравственные ценности были пропитаны милитаристским этосом. В период поздней республики и особенно ранней империи военная служба превратилась в функцию сравнительно небольшого (по отношению ко всей массе граждан, а тем более ко всему населению империи) числа людей. Солдаты образовали отдельную часть общества, на которую гражданское население смотрело со смешанным чувством уважения, непонимания и неприязни. В результате война и армия, занимавшие прежде центральное место в жизни римского общества, теперь оказались оттесненными на ее периферию. Причем не только в переносном, но и в прямом смысле. Армия была физически отделена от остального общества, располагаясь на отдаленных границах империи, которые стали военными зонами со своими специфическими особенностями. В результате Италия и внутренние провинции стали демилитаризованными регионами, население которых постепенно утратило военные традиции и воинственный дух. Под защитой вооруженных сил оно пользовалось благами *Pax*

Romana, который был не только идеологи-ческой конструкцией, но и, в определенной мере, разумеется, объективной реальностью.

В конечном счете Римская империя заплатила высокую цену за разрушение Августом связи между гражданством и военной службой. Эта связь обеспечивала республику обширными людскими резервами, которые помогали ей преодолевать глубочайшие военные кризисы. Важнейшим следствием дифференциации общественных функций стало резкое сокращение мобилизационных ресурсов, что явилось одним из важнейших факторов снижения обороноспособности империи в условиях нараставшего с конца II в. н.э. натиска варваров.

Как показала в своем исследовании С.Мэттен (см. реферат в данном сборнике), империя обеспечивала свою безопасность с помощью относительно небольших профессиональных вооруженных сил. И это было одним из определяющих факторов римской стратегии эпохи принципата. В силу своего ограниченного размера, отсутствия обученных резервов, медленной скорости передвижения при существовавших тогда транспортных средствах и грандиозных пространствах империи армия не была способна предотвратить массированное вторжение. Ее реакция на кризис всегда оказывалась запоздалой. Единственным вариантом реагирования на ситуацию могло быть только ответное вторжение на территорию противника после концентрации необходимых сил. Оно должно было сопровождаться как можно более жестокими репрессиями и даже геноцидом, чтобы вернуть сознание врага в то состояние страха перед Римом, которое и обеспечивало защиту границ.

Таким образом, отмечает С.Мэттен, оборона империи базировалась исключительно на вере врага в неотвратимость возмездия. Стоило только небольшой армии империи стать слабее, столкнуться с кризисом, на который она не смогла бы адекватно отреагировать, и эта вера неизбежно исчезла бы, а вместе с ней рухнула бы и оборона империи, что, собственно, и произошло в III в. н.э.

### Список литературы

1. Кошеленко Г.А. Введение. Древнегреческий полис // Античная Греция: Проблемы развития полиса. М., 1983. — Т. 1. Становление и развитие полиса. — С. 9–36.
2. Маркс К. Формы, предшествующие капиталистическому производству // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. — 2-е изд. — Т. 46, ч. 1. — С. 461–508.
3. Печатнова Л.Г. История Спарты (период архаики и классики). — СПб., 2001. — 510 с.

4. Фролов Э.Д. Рождение греческого полиса. — Л., 1988. — 232 с.
5. Штаерман Е.М. Древний Рим: Проблемы экономического развития. — М., 1978. — 222 с.
6. Яйленко В.П. Архаическая Греция // Античная Греция: Проблемы развития полиса. — М., 1983 — Т. 1. Становление и развитие полиса. — С. 128–193.
7. Alföldy G. The social history of Rome. — L., 1988. — 251 p.
8. Connolly P. Greece and Rome at war. — L., 1981. — 320 p.
9. Cornell T.J. The beginnings of Rome: Italy and Rome from the Bronze age to the Punic wars (ca. 1000 — 264 B.C.). — L.; N.Y., 1995. — 507 p.
10. Ferenczy E. From the patrician state to the patricio-plebeian state. — Budapest, 1976. — 224 p.
11. Heurgon J. The rise of Rome to 264 B.C. — L., 1973. — 344 p.
12. Hignett C.A. A history of the Athenian constitution to the end of the fifth century B.C. — Oxford, 1952. — 420 p.
13. Hodkinson S. Inheritance, marriage and demography: Perspectives upon the success and decline of Classical Sparta // Classical Sparta: Techniques behind her success / Ed. by Powell A. — L., 1989. — P. 79–121.
14. Jeffery L.H. Archaic Greece: The city-states ca. 700–500 B.C. — L., 1976. — 272 p.
15. Keppie L. The making of Roman army: From Republic to Empire. — Totowa (N.J.), 1984. — 271 p.
16. Last H. The Servian Reform // J. of Roman studies. — L., 1945. — Vol.35. — P. 30–48.
17. Manville Ph. B. The origins of citizenship in ancient Athens. — Princeton (N.J.), 1990. — 265 p.
18. Nicolet C. The world of the citizen in republican Rome. — Berkeley; Los Angeles, 1988. — 435 p.
19. Ober J. Mass and elite in democratic Athens: Rhetoric, ideology and the power of the people. — Princeton (N.J.), 1989. — 390 p.
20. O’Neil J.L. The origins and development of ancient Greek democracy. — Lanham (Md), 1995. — 189 p.
21. Osborne R. Demos: The discovery of Classical Attica. — Cambridge etc., 1985. — 284 p.
22. Starr Ch. The economic and social growth of Early Greece. 800–500 B.C. — N.Y., 1977. — 267 p.
23. Sumner G.V. The legion and the centuriate organization // J. of Roman studies. — L., 1970. — Vol. 60. — P. 61–78.
24. Wood E.M. Peasant-citizen and slave: The foundations of Athenian democracy. — L.; N.Y., 1989. — 210 p.

*А.Е.Медовичев*



**ВОЙНА КАК КУЛЬТУРНЫЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ  
ФАКТОР:  
ОЧЕРКИ ПО ИЗУЧЕНИЮ  
РОЛИ ВОЙНЫ В АНТИЧНОМ МИРЕ**

**War as a cultural and social force: Essays on warfare in antiquity /  
Ed. by Bekker-Nielsen T., Hannestad L. – Copenhagen: Kgl.  
danske vid. selskab, 2001. – 215 p. – Библиогр. в конце ст.**

Сборник включает ряд материалов международной научной конференции, проведенной в январе 1998 г. в Датской королевской академии наук и литературы по проблеме воздействия войны на античное общество и его культуру. В публикуемых работах рассматриваются такие вопросы, как взаимосвязь военных и социально-политических преобразований, военного и социально-политического статуса граждан греческого полиса; взаимоотношения армии и гражданского общества в поздней Римской республике и ранней империи в контексте профессионализации военной деятельности; тема войны в греческом и римском изобразительном искусстве (в плане изучения эволюции отношения к войне, а также соотношения стилизованного и реалистического в изображении батальных сцен). В ряде представленных в сборнике исследований ставятся под сомнение некоторые прочно утвердившиеся в науке идеи и теории.

Одной из таких «великих идей» классической науки является теория так называемой «гоплитской революции», согласно которой возникновение в VIII–VII вв. до н.э. фаланги тяжеловооруженной пехоты (гоплитов) оказалось важнейшим фактором тех социальных перемен, результатом которых явилось формирование греческого полиса как относительно сплоченного сообщества граждан. Идея о тесной взаимосвязи между гоплитским способом ведения боя («гоплитской войной») и становлением

греческих *poleis*, а также ее логическая конверсия — отсутствие гоэлитской тактики и соответствующих институтов в так называемых *ethne* (образованиях племенного типа) Средней и Северной Греции, анализируется в открывающей сборник статье К.Морган «Символические и прагматические аспекты войны в греческом мире VIII–VI вв. до н.э.». Указанная концепция, пишет автор, казалось бы, находит поддержку в литературных источниках (Фукидид). Однако, отмечает она, необходимо иметь в виду тот факт, что большинство греческих писателей V в. до н.э. стояли на откровенно афиноцентристских позициях и были склонны изображать своих периферийных соотечественников «отсталыми». В то же время изучение обширного комплекса археологических материалов периода раннего железного века и ранней архаики не показывает сколько-нибудь явного различия в распределении погребений с оружием между *ethne* (Фессалия) и *poleis* Средней Греции, островов Эгейского моря и побережья Малой Азии (с. 22–24).

В целом, отмечает автор, в настоящее время представление о возникновении гоэлитской фаланги как о своего рода поворотном пункте в греческой истории уже не находит всеобщей поддержки. Разумеется, оно имело решающее значение в развитии греческого способа ведения войны, но применительно к данному феномену речь, скорее, может идти об эволюции, достаточно протяженной и неравномерной во времени и пространстве. Причем в периферийные районы, как позволяют думать имеющиеся материалы, военные нововведения проникали через институт наемничества, получивший широкое распространение уже в архаический период (с. 34–38).

Х. ван Веес в статье «Миф об армии среднего класса: военный и социальный статус в древних Афинах» доказывает неправомочность традиционного взгляда на гоэлитскую фалангу как на социально гомогенную военную силу, объединявшую в своих рядах почти исключительно представителей «среднего класса» — так называемых зевгитов (*zeugitai*) — третьего, по солоновской имущественной классификации, разряда афинских граждан. Большинство исследователей видят в них главным образом широкий слой более или менее состоятельных крестьян, способных приобрести тяжелое вооружение. Между тем анализ имеющихся количественных данных и собственные подсчеты автора показывают, что по размеру богатства зевгиты не слишком уступали «всадникам» (*hippeis*) и вместе с ними, а также с пентакосиомедимнами (высшим разрядом) принадлежали к категории «богатых» (*plousioi*), т.е. людей, свободных от

необходимости лично трудиться для своего пропитания в отличие от «бедняков» (penetes). Последние идентифицируются автором исключительно с фетами (thetes) — низшим имущественным классом по «конституции» Солона, который был ограничен в своих политических правах тем, что его представители не могли претендовать ни на какие государственные должности.

Таким образом, по мнению Х. ван Вееса, зевгиты в некотором смысле являлись частью афинской элиты, «праздного класса» и, соответственно, сравнительно немногочисленной категорией населения. По расчетам автора, в общей массе афинских гоплитов накануне Пелопоннесской войны их было вряд ли больше половины, а скорее всего — меньше (около трети). Остальная часть тяжелой пехоты (вероятно, до двух третей) комплектовалась за счет фетов («трудящегося класса»), материальное положение значительного числа которых, с его точки зрения, позволяло приобретать гоплитскую паноплию (с. 52–54).

Признание этого внутреннего деления среди гоплитов, пишет Х. ван Веес, имеет серьезные последствия для понимания истории Афин (и не только Афин) архаического и классического периодов. До недавнего времени считалось, что создание в VII в. до н.э. гоплитской фаланги со временем заставило аристократию уступить часть своей политической власти влиятельному благодаря его военной роли «среднему классу», в результате чего и возникла некая первоначальная форма демократии. Тем самым война приобретала облик движущей силы в формировании социальных и политических структур. Теперь, отмечает автор, приходится признать, что в постсолонических Афинах военный статус индивида сам по себе не определял его цензовый рейтинг и, следовательно, политический вес, который зависел главным образом от уровня богатства. Отсюда следует, что большинство «демократических» прав были гораздо менее широко распределены, чем это обычно представляется. Соответственно, нет оснований полагать, что усиление значения тяжеловооруженной пехоты вело к созданию в Афинах (или где-либо еще) «гоплитской демократии». Точно так же усиление в дальнейшем роли военного флота, который обслуживался и комплектовался гражданами низшего разряда, малоимущей частью «класса» фетов, вряд ли способствовало становлению «радикальной демократии», полагает Х. ван Веес. Гораздо более важное значение имело, с его точки зрения, введение, начиная с 450-х годов до н.э. практики оплаты государственных должностей, открывшей более широкие возможности участия в политической жизни

общества для представителей «трудящегося класса». И если целью олигархического переворота 411 г. до н.э. была отмена этой практики и ограничение круга полноправных граждан группой лиц, в основном совпадающей с «классами» пентакосиоме-димнов, всадников и зевгитов, то это было лишь реставрацией прежней формы правления, участие в которой еще недавно было доступно не всем гражданам или даже не всем гоплитам, но только элитарному «праздному классу» (с. 61–62).

Статья В.Габриельсена посвящена экономическим и социальным аспектам морской войны в Древней Греции. На примере двух крупнейших морских полисов античного мира — классических Афин и эллинистического Родоса — автор реконструирует фискальные системы, применяемые греческими городами-государствами для финансирования военных флотов и проведения морских операций, а также исследует воздействие этих систем на социальную структуру полисов. Как показывает В.Габриельсен, в начале V в. до н.э. афиняне покончили с древней традицией ведения боевых действий на море с помощью частновладельческих кораблей, заменив их флотом, финансируемым государством при участии триерархов. Последние отвечали за оснащение боевых кораблей — триер и командовали ими. Теоретически считалось, что состоятельные граждане возлагают на себя триерархию добровольно, но фактически они часто оказывались вынужденными исполнять эту почетную, но весьма обременительную литургию, служившую своеобразной формой налога на богатых. Напротив, Родос остался верен прежней практике, поддерживая свое морское могущество посредством индивидуальных усилий богатых граждан, финансирующих строительство и эксплуатацию собственных кораблей, которые они использовали не только в государственных, но и в личных целях. Соответственно, в течение эллинистической эпохи большая часть Родосского флота оставалась в руках ограниченной, но крайне влиятельной группы семей. Монополизировав почти все более или менее значительные функции государства, они образовали замкнутую и могущественную морскую аристократию, тогда как их афинские коллеги — триерархи — в течение IV в. до н.э. все более выступали в роли простых налогоплательщиков. Различие афинского и родосского подходов к морским вооружениям отражалось также на тактике их флотов и типе кораблей. Классические Афины предпочитали «формализованные» морские сражения и специализированный военный корабль — триеру, тогда как для родосцев морские операции сводились преимущественно к рейдам по типу пират-

ских с использованием легких многофункциональных триемолий (с. 76–80, 84–85).

М.Остин в статье «Война и культура в державе Селевкидов» подчеркивает тот факт, что из всех монархий эллинистического мира государство, основанное Селевком, одним из македонских полководцев, соратником Александра Великого, очевидно, имело наиболее ярко выраженный военный характер. Что же касается культурных достижений, то Селевкиды, по-видимому, стояли далеко позади всех других монархий своего времени, особенно египетских Птолемеев и пергамских Атталидов. Среди причин этого автор выделяет: 1) рационально труднообъяснимую несклонность селевкидских царей устанавливать личные контакты с интеллектуалами и деятелями искусства и привлекать их ко двору, как это делали первые Лагиды или Эвмен II; 2) сравнительную слабость связей Селевкидов с Грецией, особенно с Афинами, вплоть до конца III в. до н.э., отчасти обусловленную слабостью их военно-морского присутствия в Эгеиде и Восточном Средиземноморье; 3) отсутствие в течение длительного времени в державе Селевкидов того, что можно было бы назвать подлинно столичным городом, подобным Александрии или Пергаму, в котором могла бы концентрироваться политическая, интеллектуальная и культурная жизнь. Это последнее обстоятельство объясняется, в свою очередь, отсутствием сколько-нибудь постоянного центрального региона селевкидской империи, в качестве территориального ядра которой выступали как Месопотамия, так и Северная Сирия, а также мобильностью самих царей и их окружения, вынужденных постоянно перемещаться по обширной территории своей державы в целях ее обороны и подавления проявлений сепаратизма. В целом, заключает автор, в отличие от Египта или Пергамского царства, государство Селевкидов на протяжении всего эллинистического периода оставалось зоной перманентной войны и нестабильности, отличаясь крайне рыхлой и разнородной структурой с постоянно меняющимися границами. Отсутствие безопасности, с его точки зрения, явилось главной причиной того, что интеллектуальная и культурная элита греческого мира предпочитала оседать в Александрии Египетской, а не в Селевкии или Антиохии (с. 100–103).

В любом греческом государстве война была регулярно повторяющимся фактом общественной жизни, точно так же как и картины боя являлись постоянным мотивом греческого изобразительного искусства. Л.Ханнестад исследует их с точки зрения реалистичности отражения

современной этим художественным сценам подлинной идеологии и практики войны. Хорошо известно, пишет она, что в греческом искусстве батальные сцены из реальной жизни, показывающие настоящий фаланговый бой гоплитов, крайне редки, тогда как мифологические сюжеты на тему героических поединков явно преобладают и достаточно стереотипны, как принято считать. Тем не менее, полагает автор, даже в таком виде они вполне достоверно передают многие характерные особенности боя гоплитов и поведения индивида перед лицом смерти, которые были хорошо знакомы по личному опыту большинству мужского населения греческих полисов архаического и классического периодов, в том числе и самим художникам и скульпторам (с. 111). Вместе с тем анализ аттических погребальных стел VI—IV вв. до н.э. демонстрирует постепенное снижение популярности образа воина-гоплита как центральной фигуры гражданского общества, что, однако, с точки зрения автора, свидетельствует не о снижении роли войны в повседневной жизни, но о серьезном сдвиге в системе ценностей к концу классического периода. По мере того как война все более становилась сферой деятельности профессиональных наемных воинов, гражданин греческого полиса приобретал облик «идеального бюргера» с соответствующим переносом акцента на иные, невоенные, качества его образа в искусстве (с. 117).

Проблему использования «академической науки» в военном контексте в Древнем мире на протяжении классического и эллинистического периодов истории Греции, а также в ранней Римской империи рассматривает Т.Беккер-Нильсен. На примере геометрии автор показывает отсутствие взаимосвязи между «чистой наукой» и практикой войны не только у греков, но и у римлян. Наиболее очевидным случаем практического применения геометрии в римской армии была разбивка лагерей, но даже здесь ее военное использование, считает автор, имело вторичный характер и было инспирировано гражданской практикой планировки городской территории (с. 127).

В статье Л.Кеппи «Армия и общество в поздней республике и ранней империи» прослеживается трансформация римской армии в течение II в. до н.э. из ополчения землевладельцев в войско добровольцев-профессионалов, а также последующая смена моделей рекрутирования в эпоху Августа и императоров династии Юлиев-Клавдиев. Как отмечает автор, значительное увеличение срока службы в начале раннего принципата, расположение легионов далеко за пределами Италии, вдоль границ империи, а также сами условия службы делали ее малопривлекательной для римских граждан — италийцев,

доля которых среди легионеров неуклонно падала: при Августе и Тиберии — до 62%, при Клавдии и Нероне — до 50% (без учета данных по восточным провинциям, для которых эпиграфические свидетельства такого рода отсутствуют). Их место постепенно занимали провинциалы — отчасти потомки италийских эмигрантов и колонистов, но во все возрастающем числе — представители местных общин, которые стремились получить римское гражданство путем поступления на службу в легионы. В результате к рубежу I—II вв. н.э. Рим и Италию на дальних подступах к ним обороняли армии неиталийцев, надежность которых обеспечивалась возможностью повышения социального статуса благодаря военной службе (с. 135).

Впрочем, верность провинциалов империи подкреплялась различными путями, часто объединяемыми в науке общим термином «романизация». И разумеется, ветераны легионов и вспомогательных частей являлись мощным фактором укрепления лояльности и связей между провинциями и Римом. После отставки ветераны получали не только солидные денежные премии, но и освобождение от многих местных налогов и литургий. Этот иммунитет был подарком императора, который, однако, делался фактически за счет менее привилегированных сограждан ветерана. Как показывает С. Линк в статье «Ветераны и *munus publicum*», первые императоры ясно осознавали это и предпринимали усилия к тому, чтобы поддерживать число подобных исключений на разумном уровне, тогда как ветераны стремились освободиться вообще от всех повинностей. И эта идея, по-видимому, отчасти была воспринята правительством к концу II в.н.э. Но даже тогда императорские рескрипты устанавливали четкие лимиты как на количество, так и на длительность исключений, неизменно оговаривая при этом, что под них не попадают семьи ветеранов (с. 140–142).

Со времени Э. Гиббона период ранней империи, особенно II в.н.э., часто описывается как «Золотой век». Однако Н. Ханнестад в статье, посвященной теме войны в римском искусстве данного периода, доказывает, что сами императоры и многие их современники, по-видимому, далеко не всегда разделяли этот благодушный взгляд на свою эпоху. Сравнительный анализ рельефов колонн Траяна и Марка Аврелия показывает, с точки зрения автора, растущую озабоченность ужасами войны и безжалостной жестокостью как врагов Рима — варваров, так и самих римских воинов. В отличие от простых обывателей, живущих вдали от границ империи, императоры ясно осознавали растущее давление извне и непрочность римского военного превосходства над варварами. К III в. н.э. их подданные также стали понимать это. Соответственно, и портретный образ «идеального императо-

ра» претерпел тогда существенные изменения: одухотворенное лицо борода-того «философа на троне» сменила физиономия воина, выражающая агрессивность и жестокую эффективность, которая должна была внушить мир-ным обывателям уверенность в несокрушимой мощи империи, которая в реальности становилась все более призрачной (с. 149–153).

Военные и социальные изменения на севере Европы рассматриваются в статье К.Рандсборга «От бронзы к железу: возникновение европейской пехоты». Анализируя материалы раскопок ряда археологических комплексов Северной и Центральной Европы (в частности, крупного болотного местона-хождения в Хьертспринге на юге Дании), автор приходит к выводу о том, что развитие пехотного боя в этих регионах в раннем железном веке обнаруживает как тактические, так и социальные параллели в гоплитской фаланге клас-сического средиземноморского мира. Причем на севере, так же как и в Греции архаического периода, переход к способу боя копьем и щитом в тесно сплоченном построении массы пехоты коррелирует с определенным упадком ари-стократических ценностей и стиля жизни и распространением более эгали-тарной системы (с. 160–163).

Сборник включает работа К.Г.Х.Халлингсо, которая представля-ет собой краткий общий обзор эволюции военного дела и войны в Европе в период от античности до эпохи викингов. Как отмечает автор, развитие тактики сухопутного боя не является однонаправленным процессом, а изменение военных доктрин не обязательно выступает как логическое развитие в сторону более высокой эффекти-вности. В качестве харак-терного примера он приводит деградацию тяжелой кавалерии и связан-ной с ней тактики боя в период после походов Александра Македонско-го.

*А.Е.Медовичев*



**БОУДЕН Х.  
ГОПЛИТЫ И ГОМЕР:  
ВОЙНА, КУЛЬТ ГЕРОЯ И ИДЕОЛОГИЯ ПОЛИСА  
BOWDEN H.**

**Hoplites and Homer: Warfare, hero cult and the ideology of the polis // War and society in the Greek world / Ed. by Rich J., Shipley G. — L.; N.Y., 1995. — P. 45–63.**

В статье Х.Бодена рассматриваются две центральные, с его точки зрения, и тесно связанные между собой сферы жизни греческого полиса: война, в особенности «гоплитская война», и религия, в особенности культ героев. Обычно считается, пишет автор, что общество, которое описывается в «Илиаде» Гомера, в основном принадлежит так называемым «темным векам» (XI–IX вв. до н.э.), и что мир полисов, который начал формироваться в течение VIII в. до н.э., по большинству параметров существенно отличается от «героического» или аристократического мира этой эпической поэмы. В данной работе автор пытается доказать, что «Илиада» фактически была продуктом полисного в своей основе общества и что ее предметно-субъектный комплекс — война и герои — был понятен и близок всем тем, кто жил в полисе (с. 45).

В целом, отмечает исследователь, представление о том, что в «Илиаде» (как и в «Одиссее») представлен мир общин, близких греческому полису архаического и классического периодов, в последнее время получает все большее распространение. И хотя любые попытки определить минимальный набор критериев для идентификации полиса уязвимы для критики, по мнению автора, полис следует трактовать как «независимое сообщество с четко определенными территориальными рамками,

четко определенным гражданством, общим культом и общим политическим центром» (с.47). Это определение, отмечает он, согласуется с идеей Аристотеля о том, что принципиальной чертой полиса является *autarkeia*, нечто вроде самодостаточности или автономии. Сообщества подобного рода встречаются в «Илиаде» (описание двух городов, изображенных на щите Ахилла) и в «Одиссее» (описание Схерии). Такие основные их элементы, как крепостные стены, дома, храмы и участки земли на прилегающей к городу территории (*chora*), с точки зрения Х.Боудена, можно считать базовыми для той формы греческих общин, в какой они существовали со второй половины VIII в. до н.э. и в дальнейшем, на протяжении архаического, классического и эллинистического периодов.

Существенные изменения в социальной и политической организации греческого общества в VIII столетии до н.э., связанные с возникновением полиса, сопровождались также важными переменами в военной сфере и в идеологии, каковыми стали создание гоплитской фаланги и распространение культа героев. «Гоплитская реформа», пишет автор, является центральным объектом ряда исследований по истории Греции раннего архаического периода. Введение нового вооружения и новой тактики боя, доказывается в них, привело к включению в боевой состав «неаристократов», что, в свою очередь, вызвало движение за социальные перемены. Такой подход, отмечает Х.Боуден, по существу, рассматривает военные и социальные преобразования как следствие технологических изменений. Однако относительно высокая стоимость бронзовой паноплии (комплекса вооружения гоплита, которое он приобретал за собственный счет) предполагала ограниченное число участников вооруженной борьбы. На это обстоятельство в IV в. до н.э. обращал внимание Аристотель, отмечая, что гоплиты в его время происходили из рядов богатых, а не бедных. Соответственно, предполагается, что редко до половины граждан того или иного полиса могли иметь тяжелое вооружение (с. 48).

Действительно, пишет автор, в классическую эпоху, когда военные флоты ряда городов-государств обеспечивали занятость множества бедняков, гоплитская фаланга могла резервироваться для состоятельных граждан. Но нет достаточных оснований полагать, что так было и в более ранний период. Дорогостоящая паноплия, однажды приобретенная тем или иным способом, в дальнейшем переходила от отца к сыну. Не случайно распространение гоплитской тактики совпадает по времени с прекращением использования вооружения в погребальном обряде. Кроме

того, степень унификации вооружения в ранней фаланге, по-видимому, была значительно меньшей, чем в классической, а это, в свою очередь, означает, что она могла включать бойцов, снаряжение которых различалось как по качеству, так и по количеству составляющих его элементов. При этом лучше вооруженные воины занимали первые ряды фаланги, а вооруженные хуже — последние.

В целом, отмечает Х.Боуден, возникновение гоплитской тактики вряд ли следует напрямую связывать с появлением нового комплекса боевых средств. По его мнению, фаланга как специфическая тактическая форма появилась вместе с концепцией границы хоры полиса, и это объясняет тот парадоксальный факт, что в такой гористой стране, как Греция, сложился боевой порядок, пригодный только для действий на равнине. Она находила применение прежде всего там, где границы двух полисов соприкасались на равнине. Характерно, что первым примером сражений с участием фаланг была, по-видимому, так называемая Лелантинская война — пограничный конфликт между Халкидой и Эретрией из-за расположенной между ними плодородной равнины. Таким образом, фаланга, представлявшая собой линию стоящих плечом к плечу граждан-воинов, была призвана защищать территорию полиса и служила, как полагает автор, своеобразной зримой фиксацией границы этой территории. Однако в этом случае фаланга должна была, по крайней мере изначально, включать не только состоятельных членов общины, но подавляющее большинство гражданского коллектива. Она, следовательно, не только являлась с самого начала базовой чертой полиса, но фактически была идентична полису. Соответственно, идеология гоплитской фаланги была идеологией полиса (с. 48—49).

Теперь, пишет автор, в целом доказано наличие тесной взаимосвязи между культом героев и развитием греческого полиса. Аналогичную форму имел культ «основателя» (ойкиста) в греческих колониях. Местный герой выступал в роли охранителя полиса, точно такую же роль играл ойкист в полисе, возникшем на колониальной почве. Несомненно, что и фаланга гоплитов, и культ героя связаны с защитой территории. Оба они развивались в период, когда формирующиеся полисы стремились четко зафиксировать свои границы (с. 52).

Далее Х.Боуден переходит к вопросу о том, насколько соответствует картина боя в «Илиаде» сражению классического гоплитского типа, как она может быть реконструирована по произведениям античных писателей и лирических поэтов. В классический период противоборствующие

стороны выстраивались фалангами, в которых гоплиты стояли тесно сомкнутыми шеренгами одна за другой, образуя нечто вроде стены из щитов. Описания битв при Мантинее, Делии, Немее, Левктрах оставляют мало сомнений в том, что столкновение двух фаланг бывало настолько сильным, что ужасный звук от него разносился на много миль, после чего происходило вытеснение более слабого противника более сильным с поля сражения. Победа, таким образом, зависела только от силы и сплоченности фаланги; здесь практически не было места для проявления индивидуальной доблести, и всякий, кто до момента столкновения выходил из шеренги, существенно ослаблял свою сторону. Следовательно, тактика фалангового боя исключает какие-либо поединки, предшествующие основному столкновению. Согласно общему мнению, именно такой характер боя, как его описывает спартанский поэт Тиртей, более всего ассоциируется с боем гоплитов. Но, по мнению автора, изображение начала сражения в «Илиаде» практически полностью соответствует тиртеевской модели (с. 54).

Социальная иерархия в «Илиаде» с ее богами, *basileis* и народом, с точки зрения Х.Боудена, может читаться как описание сакральной иерархии греческого полиса, три уровня которой представлены богами, героями и простыми смертными. То, как представляли себе греки архаического и классического времени способ участия в сражении героев, демонстрирует эпизод битвы при Марафоне в описании Геродота. Они вполне допускали, что призрак героя мог появиться на стороне одного из сражающихся противников и повлиять на исход битвы. Именно в этом контексте следует понимать переносы костей героев в архаической и классической Греции; например, перенос костей Ореста из Тегеи в Спарту, обеспечивший последней военное преимущество над тегейцами, или возвращение Кимоном костей Тесея в Афины.

Несомненную взаимосвязь между культурами героев и войной обнаруживает также рассказ о реформах Клисфена в Афинах. Клисфен, как известно, создал вместо четырех старых фил десять новых, являвшихся также и основными подразделениями афинского ополчения. Причем каждая фила имела своего героя-эпонима, выбранного по согласованию с Дельфийским оракулом. Отсюда видно, пишет автор, что в эпоху гоплитов для героев было место в сражении, хотя и не в рядах фаланги. Они воспринимались как сражающиеся параллельно с армиями смертных, поддерживая подразделение отдельной филы или ополчение полиса в целом. Боги также воспринимались участвующей в битве стороной.

Взгляд греков на это обстоятельство хорошо известен, например, из описания Фукидидом сражения при Дели между афинянами и фиванцами во время Пелопоннесской войны (с.56).

Война, следовательно, вовлекала в себя три категории участников — не только простых смертных воинов и их командиров, но также сверхъестественных существ — богов и героев. Но если посмотреть на описание войны в «Илиаде», то там снова обнаруживаются те же три категории. Боги в ней играют весьма значительную роль; и среди смертных видна очень четкая граница между вождами (*basileis*) и массой простых воинов (*laoi*).

Традиционно гомеровские *basileis* рассматриваются как аристократия дополисного общества, т.е. как часть конкретной социальной структуры, которая реально существовала в Греции X—IX вв. до н.э. Согласно же другому взгляду, они являются частью абсолютно искусственного мира. Как отмечает автор, ни одно из этих представлений не корректно вполне. Гораздо больший смысл имеет, по его мнению, сравнение гомеровских *basileis* с героями, которым поклонялись в греческих полисах. Различие в «Илиаде» между *basileis* и народом, пишет Х.Боден, явно больше, чем ранговое. Рядовые воины почти никогда не называются по именам за исключением тех моментов, когда тот или иной из них не погибнет от руки *басилея*. Сами *басилеи* бывают жертвами только других *басилеев*, но никогда не рядовых воинов; только *басилеи* пользуются колесницами, перемещаясь на них к месту схватки, и только *басилеи* могут видеть богов, когда те вмешиваются в битву. И наконец, *басилеи* «Илиады», подобно фантастическим фигурам героев рассказов Геродота и Фукидида, сражаются вместе с фалангой и для фаланги, но не в ее рядах (с. 58).

Другая проблема — присутствие колесниц, которую необходимо как-то согласовать с «гоплитской» интерпретацией боя в «Илиаде». По мнению Х.Бодена, взаимосвязь колесниц и гомеровских *basileis* обнаруживает явные параллели во взаимосвязи процессий колесниц с героическим культом. Изображения подобных процессий, служивших важным элементом главных полисных культов, появляются на керамических сосудах геометрического стиля и ассоциируются именно с культом героев или по крайней мере с культом мертвых. Еще одна характерная черта гомеровских *basileis* состоит в том, что их пиршества всегда сопровождаются поеданием огромного количества мяса, что особенно примечательно, поскольку его потребление в греческом мире всегда происходило

исключительно как часть ритуальных действий и даже элита ела мясо только во время жертвоприношений олимпийским богам. Это обстоятельство также, с точки зрения автора, позволяет говорить о взаимосвязи *basileis* и героев, культ которых предполагал регулярное принесение в жертву животных (с. 59).

Таким образом, полагает Х.Боуден, когда гражданин греческого полиса слушал описание подвигов гомеровского *басилея*, он ассоциировал его совершенно необязательно со своим или чьим-либо еще предком, но с героем полиса. Если олимпийские боги в «Илиаде» принимают непосредственное участие в делах людей, в том числе и в битвах между смертными, то никто не отрицает, что этих богов следует идентифицировать именно с теми персонажами, культы которых отправляла аудитория Гомера. Следовательно, и гомеровских *basileis*, считает автор, можно рассматривать сходным образом. Это не отменяет человеческую природу их образов в «Илиаде». Чувства героев-басилеев вполне человеческие (впрочем, как и чувства самих богов), но их поступки отделяют их от простых людей (с. 60).

Все сказанное выше, с точки зрения автора, позволяет сделать вывод о том, что «Илиада» не воспринималась современниками Гомера и не должна восприниматься сейчас как поэма, прославляющая аристократическое общество. В ней представлено общество полиса, и обращена она скорее в будущее, в мир граждан, чем назад, в «темные века» племенных вождей. Но тогда нет оснований использовать ее данные для характеристики «дополисного» периода и, соответственно, «догоплитского» способа ведения вооруженной борьбы. «В противном случае, — заключает автор, — возникает вопрос: были ли “темные века” действительно временем господства аристократии?» (с. 61).

*А.Е.Медовичев*

РИЛЛ Т.  
ВОЙНА, РАБСТВО И КОЛОНИЗАЦИЯ  
В РАННЕЙ ГРЕЦИИ  
RIHLL T.

War, slavery and settlement in early Greece // War and society  
in the Greek world / Ed. by Rich J., Shipley G. — L.;  
N.Y., 1995. — P. 77–107.

В статье Трейси Рилл рассматривается роль вооруженного насилия в процессе так называемой Великой греческой колонизации и в обеспечении жизнеспособности древнегреческого общества. Автор доказывает, что захват силой как материальных ценностей, так и людей («добытое копьем») являлся, с точки зрения древних греков, вполне нормальным и законным способом приобретения, что война в греческом мире была действенным «способом производства» («труд копьем»). Соответственно, главным «продуктом», который изымался греками в колонизируемых ими зонах Средиземного и Черного морей, были рабы.

Нет особой необходимости доказывать, пишет автор, что в основе сюжета гомеровской «Илиады» лежат действия банды греков, которые, разбив лагерь на чужом берегу, грабят ближайшую округу, а в основе сюжета «Одиссеи» — жизнь греческой общины на родине, воинственная часть мужского населения которой отправилась грабить за море. Вряд ли и Архилох, известный поэт архаической эпохи, мог сильно преувеличивать роль военной деятельности в обеспечении своего повседневного существования, когда писал, что все необходимое добывает с бою («копьем»), а не путем покупок (с. 79–80).

Позднее, уже в период поздней классики, знаменитый философ Аристотель в «Политике» в числе основных — согласных с природой —

способов существования или производительного труда называл, наряду с земледелием, пастушеством, охотой и рыболовством, также и пиратство. Но и в категории «охота» он выделял такой ее «естественный» вид, как охота на людей (т.е. рейды за рабами), рассматривая ее как часть военного искусства, а последнее — как справедливый способ приобретения собственности. Начиная с классической эпохи, предпринимались, правда, некоторые усилия провести разграничение между греками и негреками в качестве объектов добычи, но сама аргументация древних за или против порабощения греков греками на самом деле, как отмечает автор, служит лишь дополнительным подтверждением, что такое случалось. И если захваченные греки рано или поздно выкупались на свободу, это не устраняет сам факт их порабощения, тем более что выкупленный становился должником (в сущности, рабом) выкупившего его гражданина вплоть до уплаты долга (с. 84–85).

В условиях отсутствия каких-либо полицейских сил, поддерживающих закон и порядок в греческих городах-государствах, каждый гражданин должен был защищать себя сам. Использование насилия частными лицами не было отрицанием законности, но служило необходимым приложением к публичному судебному процессу. Единственным гарантом безопасности и свободы граждан являлось само их объединение в рамках полисной общины, которая выступала в роли военной организации. Естественным следствием самообороны граждан, пишет Т.Рилл, было то, что оружие должно было иметься в каждом доме и владелец его должен был уметь им пользоваться, а также то, что оружию отдавался высший приоритет в семейном бюджете, поскольку от него зависели личная свобода и жизнь индивида. Соответственно, каждый гражданин вооружался настолько, насколько позволяли его возможности. Но эта всеобщая вооруженность в условиях политической нестабильности раннего полиса часто служила стимулом к разрешению межфракционных гражданских распри с помощью оружия. В результате побежденная группировка бывала вынуждена либо подчиниться победителям, либо, в порядке альтернативы, взяв оружие, поискать себе новую родину. Все это создавало благоприятные социальные и психологические условия для участников разного рода военных предприятий: вооруженных повстанцев, наемников, пиратов и авантюристов (с. 87).

Поселению на новом месте обычно предшествовали разведывательные рейды и пиратские набеги. Одним из наиболее излюбленных мотивов росписи ваз геометрического стиля являются сцены высадки с



корабля. Центральное положение кораблей в сценах боя при десантировании, пишет автор, определенно делает экипаж (т.е. пиратов), а не обороняющие берег силы, героями картины, изображающей далеко не экстраординарное событие греческой жизни позднего геометрического периода (по археологической периодизации) (с. 88).

Профессиональными пиратами, согласно сообщениям античных писателей (Страбон, Юстин), были фокейцы, обследовавшие неизвестные прежде грекам воды Западного Средиземноморья и атлантического побережья и основавшие свои поселения (apoikia) на Корсике (Алалия) и на юге Галлии (Массалия). В течение ряда лет они настолько допекли грабежом и разбоем два других могущественных народа — карфагенян и этрусков, — что заставили их действовать совместно. Тем не менее в решающем морском сражении фокейцам удалось победить вдвое превосходящий их карфагено-этрuscoский флот, подтвердив этим мнение о пиратах, как о наиболее пригодных к морской службе и боеспособных людях. Аналогичной репутацией в архаический период пользовались также эвбейцы (с. 94).

Часто считается, пишет Т.Рилл, что главным мотивом греческой экспансии была торговля. При этом предполагается, что греки приобретали иностранные товары путем той или иной формы обмена. Возможно, отмечает она, немногие именно так и поступали. Как сообщает библейский пророк VI в. до н.э. Езекиель, если арабы и африканцы привозили на обмен в Тир специи, драгоценные камни, украшения, лошадей, то греки привозили туда рабов и бронзовые сосуды. Однако, исходя из расположения их поселений и корабельных стоянок (emporía), а также из характера обнаруженного на них инвентаря, можно с полным основанием заключить, что большинство греческих колонистов либо не имели желания приобретать иностранные товары, либо не были готовы платить за них. Изделия из керамики, металла и камня на ранних греческих заморских поселениях обычно слишком скудны, чтобы подкрепить идею о том, что они были произведены и использовались для обмена. Литературные источники также позволяют заключить, что греки прибегали к покупке только тогда, когда оказывались закрыты иные способы приобретения. Кроме того, отмечает автор, большинство новых греческих поселений располагалось в «отсталых» регионах. Потенциал для торговли, как и для грабежа, в таких местах был крайне ограничен, и наиболее обильным, если не единственным, «товаром», который греки могли взять здесь, были люди (с. 95–96).

Когда греки впервые появлялись на том или ином побережье, местное население, не знакомое с греческой тактикой, чаще всего становилось их легкой добычей. Военное превосходство греков вполне очевидно из самого масштаба их экспансии и популярности их в качестве наемных воинов. Успешное сопротивление им могли организовать немногие народы, например этруски, которые заимствовали у греков гоплитскую тактику фалангового боя, что позволило им бороться с пришельцами на равных условиях (с. 91).

В зоне высадки греки основывали береговой лагерь, обычно располагая его на месте ближайшей туземной деревни. Многие греческие лагеря размещались на островах, находящихся на некотором удалении от берега, или на легко обороняемом мысу (Березанское поселение близ Ольвии, Эпидамн, Иския близ Кум, Керкира, Ортигия около Сиракуз). Это помогало защитить лагерь от внезапных нападений туземцев и облегчить содержание пленных, захваченных в ходе боев. Если военное превосходство греков оказывалось неоспоримым в какой-либо конкретной зоне, тогда то, что начиналось как грабительские рейды от случая к случаю, могло развиваться в регулярную индустрию походов за рабами или в систему уплаты дани рабами попавшими под гегемонию племенами. Замечание Геродота (Hdt.5.6) о том, что «примитивные» фракийцы поставляют собственных соплеменников на продажу, вероятно, отражает эту ситуацию. Более того, если судить по аналогии с эпохой Великих географических открытий и колониальных захватов Нового времени, потребность греков в рабах, возможно, стимулировала межплеменные войны и грабительские набеги с целью их захвата (с. 99).

Со временем, пишет Т.Рилл, мог сложиться и более устойчивый тип совместного обитания греков и туземцев, предполагающий господство одной группы над другой на условиях, исключающих продажу за границу членов подчиненного сообщества. Тем самым аборигены низводились до положения, предусматривающего специфическую форму рабства, связанную с уплатой дани. Примерами подобной формы зависимости в самой Греции являются мессенские и лаконские илоты, клароты Крита, пенесты Фессалии, аргосские гимнеги, коринефоры (Сикион). На колониальной почве известны вифины в Византии, мариандины в Гераклее Понтийской и киллирии в Сиракузах. Но те или иные категории рабского населения сходного статуса могли существовать также у Эпизефирских локров, в Геле, Сибарисе, Таренте, Кизике, Ольвии (с. 100–101). Впрочем, как отмечает автор, случаи успешного тотально-

го порабощения местного населения исторически были сравнительно редким явлением по причине трудностей осуществления эффективного контроля над людьми, сохраняющими собственные социальные структуры и традиционные связи. Гораздо легче владеть рабами, которые оторваны от дома, семьи, общины, своей истории и традиций и вследствие этого изолированы, дезориентированы и психологически подавлены; в новом своем окружении они социально мертвы и не являются личностями. В этом плане, заключает автор, весьма показателен пример Эгины — маленького острова в Эгейском море, крайне бедного природными ресурсами, но обладавшего, судя по античным источникам, феноменальным количеством рабов и являвшегося при этом, или, скорее, именно в силу этого, одним из самых могущественных и богатых греческих государств архаической эпохи (с. 103).

*А.Е.Медовичев*

**МИЛЛЕТТ П.  
ВОЙНА, ЭКОНОМИКА И ДЕМОКРАТИЯ  
В КЛАССИЧЕСКИХ АФИНАХ  
MILLETT P.**

**Warfare, economy and democracy in classical Athens // War  
and society in the Greek world / Ed. by Rich J., Shipley G. — L.;  
N.Y., 1995. — P. 177–196.**

Статья Пола Миллетта посвящена проблеме воздействия войны на экономику и внутривластную ситуацию в Афинах в IV в. до н.э. В центре внимания автора вопрос о том, как процесс ведения войны в своем финансовом аспекте служил консолидации власти афинского демоса.

Отмечая отсутствие сколько-нибудь целостной концепции истории Афин V–IV вв. до н.э., автор пишет, что почти все существующие подходы к изучению данного периода, по сути, являются вариациями на тему: «Великолепие и упадок». В самой общей форме это выглядит как выделение в рамках рассматриваемой эпохи трех стадий. На первой из них, после разгрома персидского нашествия, происходит подъем Афин, достигающий высшей точки в так называемый «золотой век» Перикла — эпоху богатства и могущества Афинской морской державы (архэ). Далее следует критический период Пелопоннесской войны, завершающийся поражением Афин и утратой ими «империи». После чего, на третьей стадии, наблюдается общий упадок, обычно характеризуемый как «кризис IV века», кульминацией которого являются установление македонской гегемонии, уничтожение демократии и конец Афин как независимого государства. Такой подход, основанный на формуле «хороший V век — плохой IV век», отмечает П.Миллетт, способен ввести в заблуждение

относительно роли войны и ее последствий для афинского общества и судеб афинской демократии (с. 178).

Уже из этого беглого эскиза афинского «великолепия и упадка», пишет он, ясно, что война играет в представленной схеме крайне важную роль. Очень часто последствия Пелопоннесской войны рассматриваются по аналогии с экономическими последствиями для Европы Первой и Второй мировых войн, что, с точки зрения автора, является неоправданной модернизацией. Считается, что опустошительные вторжения пелопоннесских армий в Аттику были главной причиной экономического упадка и, таким образом, кризиса IV в. в целом (с. 180). Стремясь преодолеть подчиненный идее кризиса взгляд на IV столетие и представление о пагубном влиянии Пелопоннесской войны, автор в качестве альтернативы выдвигает версию о том, что в представлении афинян IV в. война в целом выполняла позитивную функцию стабилизации и сохранения демократического полиса, подпитывая его внутренние экономические и политические структуры (с. 181).

Проблематичность «теории расцвета, кризиса и упадка», пишет П.Миллетт, состоит в ее зависимости от выбора критериев. Если критериями успеха считать военное могущество и контроль над ресурсами, тогда нельзя отрицать, что Афины в IV в. до н.э., лишившись «империи», находились в упадке. Но если принять во внимание, например, социальную и политическую стабильность, упрочение демократических институтов, то в этом случае говорить о кризисе или упадке вряд ли можно. Афинская *politeia* IV в., вплоть до установления македонского господства, предстает как кульминационная стадия развития афинской демократии, как завершение длительного процесса корректировки этой социально-политической системы, которая именно в данный период достигла, по-видимому, своей оптимальной формы, позволяющей максимально усилить демократический контроль над элитой (с. 182).

Однако, отмечает автор, акцентирование внимания на политических структурах и идеологии, свойственное многим современным исследованиям, не должно затушевывать такой важный экономический аспект, как перераспределение доходов вниз по социальной шкале, в чем, собственно, и нуждался демос, если хотел сохранить свою независимость от элиты. И в этом плане, как стремится показать далее автор, роль войны была чрезвычайно велика. Тем более что политическая ситуация в Греции IV в. до н.э., характеризующаяся упомогающей частотой, с которой государства заключали и расторгали союзы, вступали в двусторон-

ние и многосторонние конфликты, сделала войну, по существу, фактором повседневной жизни (с. 183).

До настоящего времени обычный подход к финансовому аспекту войны, пишет П.Миллетт, имел чисто технический характер на основе баланса издержек и прибылей. И весь процесс его анализа представлял собой как бы привнесение принципов неоклассической политэкономии в мир с совершенно иными представлениями о рациональном. Что касается самих греков, то война всегда рассматривалась ими как потенциально прибыльное дело, как естественное средство приобретения собственности. В то же время она служила инструментом перераспределения ресурсов внутри полиса. В этом последнем отношении Афины и Рим представляют собой две противоположные модели. Если в Риме прибыль от войны присваивалась элитой, тогда как связанные с ней трудности и потери, ложившиеся на плечи крестьян-солдат, были столь тяжелы, что значительная их часть лишалась своих земель, то в Афинах все расходы на проведение военных кампаний несли состоятельные граждане, а выгодами от них пользовалась вся масса народа. Данным обстоятельством объясняется распространенность в современной историографии представлений о том, что военные налоги (*eisphora*) в значительной степени определяли «пацифизм» высших классов, в перспективе предопределивший утрату Афинами независимости, или что афинская элита подрывала основы демократии путем уклонения от уплаты налогов, необходимых для проведения активной внешней политики. Справедливость подобных суждений рассматривается автором в заключительной части статьи, где он пытается также оценить редистрибутивный эффект войны для афинского полиса IV в. до н.э.

В Афинах во время и особенно после Пелопоннесской войны существенная часть военных расходов, пишет П.Миллетт, по-видимому, действительно падала непосредственно на элиту. Существовали три главные формы внесения состоятельными гражданами средств на военные нужды государства. Простейшей из них было простое денежное пожертвование (*epidoseis*), которое делали во время войны, как правило, если верить литературным источникам, такие известные государственные деятели, как Демосфен, Гиперид, Ликург или Фокион. Вторым видом расходов элиты на войну была триерархия, когда богатый гражданин (или группа таких граждан) должен был потратить сумму денег, достаточную для снаряжения военного корабля (триеры) и содержания его

экипажа. И наконец, существовал также чрезвычайный налог на имущество богатых граждан (*eisphora*), взимавшийся в военное время (с. 186).

Хотя финансовая ответственность афинской элиты не ограничивалась *epidoseis*, триерархиями и эйсфорой, они, вероятно, были наиболее обременительными. Безукоризненное выполнение этих литургий, разумеется, повышало престиж представителей афинской элиты в глазах рядовых граждан, что имело крайне важное значение для успеха как в политической борьбе, так и в судебных тяжбах. Но одновременное выполнение ряда литургий могло создать серьезные финансовые трудности даже для богатейших афинян (как показывает пример Аполлодора — сына знаменитого афинского трапедзита, «банкира», Пасиона) (с. 188).

Больше неясностей, чем по вопросу о тяготах финансирования войны, связано с проблемой распределения материальных выгод от военных действий. Из сообщения Фукидида относительно мотивов поддержки демосом идеи военной экспедиции в Сицилию и активной агитации за нее Алкивиада следует, что как рядовые граждане, так и некоторые представители элиты рассчитывали таким образом поправить свое материальное положение. Однако не вполне ясно, насколько эта ситуация конца V в. до н.э. соответствует реалиям следующего столетия. Известно тем не менее, что отношение демоса к тем, кто вел войны от имени Афин в IV в. до н.э., было достаточно бескомпромиссным, как это следует из процедур, относящихся к военной добыче. Вся она предназначалась скорее для общественного, чем частного употребления, т.е. поступала в казну. Победоносные полководцы могли рассчитывать лишь на вознаграждение в виде какой-то ее части, но и то только по решению демоса. Возвратившиеся из похода стратеги обязаны были давать точный отчет обо всех израсходованных или полученных тем или иным путем средствах. И здесь, как отмечает автор, контраст с римскими командующими и их подходом к захваченной на войне добыче весьма примечателен.

В еще большей мере он проявляется в той степени административного и судебного контроля, который осуществляли афиняне над своими стратегами. В период между 404 и 322 гг. до н.э., пишет П.Миллетт, известно более двадцати случаев, когда афинские командующие были подвергнуты судебному преследованию. Наказания при этом отнюдь не были мягкими. Приблизительно в половине случаев процессы заканчивались смертным приговором, который обычно приводил-

ся в исполнение. Чаще всего он сопровождался конфискацией имущества (с.190).

В целом, заключает автор, имеющиеся свидетельства источников вносят известные коррективы в некогда преобладавшее мнение о том, что в течение IV в. до н.э. контроль афинян над своими полководцами стал менее жестким. Объяснение огромного большинства судебных процессов против стратегов иногда находят в нарастающей пауперизации населения Афин в течение IV столетия, в силу чего любые действительные и мнимые финансовые злоупотребления вызывали особое раздражение демоса. Их, таким образом, опять же рассматривают в свете идеи «кризиса IV в.». Альтернативный подход, отмечает П.Миллетт, позволяет интерпретировать эти процессы как эквивалент процессов против политических деятелей и рассматривать их как инструмент коллективного контроля демоса над военной частью элиты полиса (с. 191).

Детальное обоснование этой гипотезы, пишет автор, потребовало бы длительного и комплексного исследования. Поэтому в последнем разделе своей работы в качестве своего рода сурrogата такого исследования он анализирует некоторые аспекты карьеры знаменитого афинского полководца IV столетия Тимофея, аристократа, сына выдающегося флотоводца Конона. Их изучение дает определенное представление о том, в каких условиях вынуждены были действовать афинские strategoi IV в. до н.э. Недофинансирование военных кампаний приобрело в это время систематический характер. Отчасти оно отражало ограниченность материальных ресурсов полиса, который вел войны, не имея прежних имперских доходов. Командующие оказывались вынужденными использовать собственные средства, облегчая тем самым в какой-то мере бремя казны. Кроме того, недостаток средств заставлял полководцев проводить грабительские акции, что делало их уязвимыми для судебных преследований, исход которых зависел от силы их политических противников и настроения демоса (с. 194).

*А.Е.Медовичев*



**ФОКСХОЛЛ Л.  
ЗЕМЛЕДЕЛИЕ И ВОЙНА В ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ  
FOXHALL L.**

**Farming and fighting in ancient Greece // War and society in the  
Greek world / Ed. by Rich J., Shipley G.- L.; N.Y., 1995.  
P. 134–145.**

В статье Лин Фоксхолл исследуется влияние военных действий на сельское хозяйство Аттики в ходе Пелопоннесской войны (431–404 гг. до н.э.). В контексте аттической аграрной системы автор рассматривает степень эффективности стратегии уничтожения сельскохозяйственных ресурсов, применявшейся пелопоннесцами во время их вторжений в Аттику, и ее воздействие на экономику и социально-политическую ситуацию в Афинах. Целью данной работы, отмечает она, является также уточнить некоторые выводы, сделанные в исследованиях В.Д.Хансона<sup>1</sup> и Дж.Обера<sup>2</sup>, посвященных той же проблематике.

В целом, отмечает автор, уничтожение урожая зерновых, вырубка виноградников и плодовых деревьев, разрушение сельскохозяйственных построек и инвентаря на оккупированной территории всегда являлись важнейшим элементом наступательной войны в древности, хотя и далеко не всегда эффективным в плане достижения стратегических целей. Так, В.Д.Хансон, проанализировав свидетельства античных писателей, пришел к выводу о том, что объем ущерба, нанесенный аттическому земледелию во время Пелопоннесской войны, прежде значительно преувели-

---

<sup>1</sup> Hanson V.D. Warfare and agriculture in Classical Greece. – Pisa, 1983 – 168 p.

<sup>2</sup> Ober J. Fortress Attica: Defense of the Athenian land frontier, 404–322 BC. – Leiden, 1985. – 243 p.

чивался. Обработка земли продолжалась и в ходе войны, а последующее восстановление было сравнительно быстрым. Дж.Обер в основном касается войн IV в. до н.э. Он полагает, что принятие в это время афинянами оборонительной стратегии, основанной на системе пограничных крепостей, призванных предотвратить вторжение врага на территорию Аттики, стало реакцией на экономически и психологически губительную стратегию Перикла, оставившего сельскую территорию в период так называемой Архидамовой войны на произвол неприятеля. Таким образом, Дж.Обер считает, что уничтожение урожая было эффективным экономическим оружием и что с IV в. до н.э. оно использовалось даже более умело, чем прежде. Он рассматривает традиционную гоэлитскую войну как своего рода отчасти формализованный агон (состязание), в котором осажденные граждане-гоэлиты атакуют вторгшихся гоэлитов противника главным образом из страха потерять свой престиж. Стратегия уклонения от сухопутного сражения, избранная Периклом, нарушила эти «правила», результатом чего явилось развитие полномасштабной экономической войны, основанной на *epiteichismos*, т.е. занятии одной или нескольких укрепленных баз на границе вражеской территории, что позволяло более регулярно и эффективно уничтожать плоды труда аттических крестьян. Как полагает Дж.Обер, в период так называемой Декелейской войны аттическому земледелию был нанесен огромный ущерб и восстанавливалось оно очень медленно (с. 135).

Благодаря исследованиям последних лет, пишет Л.Фоксхолл, сейчас стало ясно, что фрагментированность землевладения была нормой аттической аграрной системы, которую не учли в своем анализе Хансон и Обер. Более того, именно у землевладельцев крестьянского типа наделы состояли из нескольких крайне небольших участков, зачастую расположенных в разных местах. Чтобы проиллюстрировать жизнеспособность подобной системы, автор приводит пример из современной греческой действительности. Так, на полуострове Метона земельные владения составляют в среднем около 3,5 га, разделенных (опять же в среднем) на 18 различных участков. В плане воздействия войны на аграрный ландшафт такая степень фрагментации имела бы глубокие последствия. Помочь реконструировать их могут результаты пожара на Метоне в 1985 г., который охватил около 50 га земли в центре полуострова. Всего 104 семьи из шести деревень утратили имущество: из них большинство потеряли немного, и никто не лишился большей его части (с. 136).

Воздействие античной армии, преследующей цель опустошить сельскую округу, полагает автор, должно было быть гораздо менее результативным, чем воздействие огня. Определенно, что многие участки, расположенные на высоких террасах, оказались бы недоступны не только для тяжеловооруженных гоплитов, но и для легковооруженных воинов (*psiloi*). При этом надо иметь в виду, пишет Л.Фоксхилл, что во время Пелопоннесской войны афинская конница, по-видимому, специально использовалась для защиты урожая, нападая на рассеявшиеся по равнине для ее опустошения отряды захватчиков (обстоятельство, также игнорируемое Обером и Хансоном). Впрочем, возможно, что богатые «фермеры», владевшие крупными участками, расположенными, скорее всего, на плодородных землях равнин, терпели наибольший ущерб, на что указывает автор псевдоксенофоновой «Афинской политики», который отмечает различное отношение богатых и бедных к вторжениям в Аттику. Возможно также, что этот ущерб частично компенсировался за счет так называемых *eshatai*, окраинных земель, расположенных, по-видимому, главным образом в гористых районах, практически недоступных для вражеских рейдов. Они упоминаются в источниках IV в. до н.э. и скорее всего стали более интенсивно использоваться как раз в годы Пелопоннесской войны (с. 138).

Касаясь проблемы уязвимости конкретных видов культурных насаждений, автор соглашается с В.Д.Хансоном в том, что уничтожение оливковых деревьев в больших масштабах было крайне трудоемким делом и потребовало бы неприемлемо много времени. Значительно больший ущерб, вероятно, терпели виноградники, по крайней мере те, которые располагались на равнине и на доступных склонах. Именно на вытаптывание гоплитами виноградников Аристофан обращает большее внимание в «Ахарнях», чем на другие акты вандализма пелопоннессцев.

Более сложным является вопрос о зерновых культурах. Пшеница и ячмень были главными продуктами питания, и безопасность их поставок в условиях войны была главной стратегической проблемой государства. Дж.Обер, пишет автор, придерживается более или менее традиционного взгляда, полагая, что афиняне, оставляя Аттику на произвол неприятеля, рассчитывали обеспечить свое существование полностью за счет импорта благодаря своему господству на море. Однако такая позиция, с точки зрения Л.Фоксхолл, выглядит слишком рискованной. Афиняне, считает она, должны были осознавать возможность срывов поставок, если бы военная ситуация стала складываться не в их пользу. Тем

более что импорт из отдаленных регионов всегда был в древности рискованным делом даже в мирное время. Трудно поверить, пишет автор, что стратегия Перикла, предполагавшая эвакуацию населения Аттики на время нашествий пелопоннесцев, предусматривала полную остановку аттического земледелия, которое, как показали недавние исследования, в условиях мира в значительной степени покрывало потребности афинян в зерне (с. 139).

Поэтому именно уничтожение урожая зерновых, видимо, имели целью спартанцы, когда они в ходе Архидамовой войны в течение ряда лет вторгались в Аттику как правило в середине — конце мая. Однако, пишет Л.Фоксхолл, тот факт, что оккупанты никогда не оставались там больше сорока дней, поднимает еще одну проблему, оставленную без внимания Хансоном и Обером. Дело в том, отмечает она, что уборка урожая зерновых в Греции охватывает длительный период, поскольку его созревание зависит от типа культур, дислокации участка в плане его ориентации по сторонам света и высоты над уровнем моря. При этом разница в сроках созревания той же пшеницы достигает, например, двух месяцев на наиболее низких и наиболее высоких полях. Таким образом, силы пелопоннесцев, остающиеся на оккупированной территории лишь несколько недель, могли застать готовой к уборке только часть урожая. Более того, земледельцы, осознавая опасности ведения сельского хозяйства в военное время, могли усиливать указанную специфику, применяя различные чрезвычайные приемы, например, манипулируя временем посева и расположением тех или иных культур, что облегчалось фрагментированностью наделов аттических крестьян.

Тактика использования укрепленной базы, *epiteichismos*, могла бы иметь больший эффект, так как позволяла решить проблему прибытия в нужный момент для нанесения максимального ущерба. Но и тогда уничтожение урожая зерновых не было столь легким делом, как кажется на первый взгляд. Простое вытаптывание полей не могло остановить уборку урожая, хотя и затруднило бы ее, а также сократило бы объем полученного продукта. Не легкоосуществимой задачей, особенно в больших масштабах, было и выжигание полей зерновых, если они не произрастали на смежных участках. Имеющиеся данные, по крайней мере, позволяют заключить, что такой метод не слишком широко практиковался в годы Пелопоннесской войны. Не следует также забывать, пишет Л.Фоксхолл, что афинская кавалерия должна была, как полагают неко-

торые исследователи, изрядно ограничивать вылазки спартанского гарнизона Декелеи (с. 140).

В целом, заключает автор, совокупность наличных сведений источников дает основание думать, что все попытки уничтожить урожай почти никогда не ставили под угрозу обеспечение полиса продовольствием. Реальную опасность его существованию могли представлять только многократно повторяющиеся опустошения сельской местности в комбинации с морской блокадой. Однако при менее профессиональных методах ведения войны, преобладавших в V в. до н.э. и в более раннее время (в рамках существовавшей тогда практики «гоплитской войны»), такие опустошения не могли быть особенно эффективными (с. 141).

Таким образом, полагает автор, вряд ли можно согласиться с бытующим в науке представлением о том, что «гоплитская война» была несовместима с земледелием и являлась способом создания дефицита продовольствия для противника. Смысл ее состоял в другом. Регулярные рейды противника создавали угрозу единству и сплоченности гражданского коллектива полиса, порождали внутреннюю напряженность, поскольку их последствия не были одинаковыми для всех граждан: для землевладельцев они были гораздо тяжелее, чем для безземельных; одни землевладельцы терпели больший ущерб, другие меньший. Рискованность стратегии Перикла, пишет Л.Фоксхолл, состояла в том, что она полностью зависела от лояльности граждан полису, интересам которого они должны были приносить в жертву интересы своих домохозяйств и семей. Провал этой стратегии был связан не с тем, что Афины вынуждены были терпеть экономический ущерб, а с тем, что последствия этой стратегии вызвали среди граждан зависть, подозрительность и социальный разлад. Когда она начала реализовываться, то оказалось, что опустошению подверглась не *chora* (сельская территория полиса), но *choriai* (поля) отдельных граждан (с. 142).

Всеобщее недовольство стратегией Перикла в начальный период войны хорошо известно, и это, как полагает автор, было главной причиной того упорства, с каким пелопоннесцы использовали уничтожение урожая в качестве главного элемента своей тактики. Следствием этого стала принятая афинянами в IV в. до н.э. стратегия обороны границ. Если противник не мог добраться до полей, он, следовательно, не мог угрожать и социально-политическому единству граждан.

В целом, как считает Л.Фоксхолл, фундаментальная взаимосвязь между войной и земледелием в IV в. не изменилась, хотя изменились ус-

ловия, в которых происходило взаимодействие между ними. Абсолютно интегрированная прежде триада качеств члена гражданско-го коллектива полиса — гражданин, земледелец, воин — распалась. Однако для безопасности полиса она продолжала сохранять решающее значение даже тогда, когда воин сделался обособленным субъектом (с. 143).

*А.Е.Медовичев*

**ХОДКИНСОН С.  
ВОЙНА, БОГАТСТВО И КРИЗИС  
СПАРТАНСКОГО ОБЩЕСТВА  
HODKINSON S.**

**Warfare, wealth and the crisis of Spartiate society // War and society in the Greek world / Ed. by Rich J., Shipley G. — L.; N.Y., 1995. — P. 146–176.**

Начало войны с Афинами в 431 г. до н.э., пишет Стефен Ходкинсон, означало для Спарты и начало длительного периода войн за пределами ее традиционной сферы влияния, ограниченной рамками Пелопоннеса, который продолжался с небольшими перерывами около 60 лет. Эта весьма продолжительная внешняя активность явилась совершенно новым фактором в спартанской истории. На центральной фазе этого периода (412–386 г. до н.э.) Спарта создала беспрецедентную по греческим меркам державу. Однако конец его ознаменовался быстрым падением Спарты до статуса второстепенного государства после поражения в битве при Левктре в 371 г. до н.э. и последовавшего затем освобождения зимой 370/369 г. в результате вражеского вторжения подчиненного илотского населения Мессении.

Основное внимание в данной статье направлено на изучение воздействия войны и создания «империи» на гражданский коллектив Спарты, социальная система которой к исходу 370-х годов до н.э. оказалась в состоянии глубокого кризиса. В качестве основных его составляющих автор выделяет два таких тесно взаимосвязанных между собой феномена, как концентрация земельной собственности и так называемая oliganthropia («малолюдство»), обусловленная тем, что многие обедневшие спартиаты теряли свой гражданский статус. Вместе с утратой зе-

мельных наделов они лишались возможности делать ежемесячные взносы на совместные трапезы («сисситии»), участие в которых было необходимым критерием гражданского полноправия. В результате численность общины «равных» («гомеев») катастрофически сократилась с 8 тыс. граждан в 480 г. до н.э. до примерно 1,5 тыс. к концу 370-х годов и, соответственно, резко возросло число так называемых «гипомейонов» («опустившихся»). Все это, как отмечали уже современники — непосредственные свидетели тех процессов (Ксенофонт, Аристотель), и стало главной причиной ослабления военной мощи Спартанского государства (Лакедемона) и падения его престижа в греческом мире (с. 147–149).

Как отмечает автор, медленное, но неуклонное развитие тенденции к росту имущественного неравенства среди спартиатов началось гораздо раньше изучаемого периода и было обусловлено, как он считает, функционированием системы долевого наследования имущества при равном участии в нем как сыновей, так и дочерей. С одной стороны, такая система стимулировала ограничение рождаемости, с другой — позволяла более состоятельным гражданам расширять свои земельные владения даже при наличии формального запрета на куплю-продажу земли, путем заключения выгодных брачных союзов и таких скрытых форм ее отчуждения, как завешание или дарение. Конечным итогом этих внутренних процессов в спартанском обществе явилось разрушение сплоченности гражданского коллектива. Тем не менее, как показывает далее автор, внешние войны и установление спартанской гегемонии в Греции сыграли роль мощного ускорителя в развитии кризисных явлений.

Согласно античным писателям, спартанский социальный порядок рухнул вследствие потока зарубежных богатств, особенно в виде золотой и серебряной монеты, хлынувшего в Лакедемон после разгрома в 404 г. до н.э. Афинской архэ. Разумеется, пишет автор, принимая во внимание описанные выше процессы, наплыв денег в Спарту не был единственной причиной появления «новых богачей». Однако командующие спартанскими войсками за рубежом имели теперь больше, чем прежде, возможностей для самообогащения во время длительных заграничных кампаний и широко их использовали. Отчасти это делалось с целью достижения политических преимуществ у себя на родине. Следовательно, богатство уже было важным критерием, определяющим статус и степень влияния того или иного индивида. Его значение по сравнению с другими критериями, по мнению автора, заметно выросло уже в течение V столетия до



н.э., и новое «имперское» богатство, скорее, лишь ускорило, чем инициировало этот процесс (с. 152).

Исследователи, пишет С.Ходкинсон, обычно подчеркивают очевидный контраст между положением спартанских граждан на родине, в рамках строго регламентированной, контролируемой государством системы, и положением их в качестве самостоятельных командующих за рубежом. Чтобы оценить значение этого различия, автор рассматривает далее такие вопросы, как количество граждан, привлеченных к службе за границей, продолжительность их пребывания там, социальный статус спартанских командиров, принципы их подбора, степень контроля за ними со стороны отечественных властей.

Автор выделяет две основные категории спартиатов, посредством которых Спарта осуществляла свои зарубежные военные мероприятия. Это, во-первых, командующие пелопоннесскими флотами («навархи») со своими штабами сопровождающих «офицеров» и триерархи (командиры боевых кораблей — триер); во-вторых, так называемые гармосты (harmostai), действовавшие на суше, сфера ответственности которых могла варьировать от территории единичного греческого полиса до «зонального командования» в рамках более обширного региона. Подчиненные им контингенты состояли главным образом из освобожденных илотов (neodamodeis), отрядов пелопоннесских союзников и наемников. Это позволяло Спарте вести боевые действия одновременно на разных театрах войны, направляя за границу лишь незначительное меньшинство своих граждан, выполнявших преимущественно командирские функции, тогда как подавляющее большинство спартиатов всегда оставалось на родине для обеспечения господства «общины равных» над поработанным илотским населением. В общей сложности, согласно подсчетам автора, количество спартиатов, одновременно находившихся за пределами Лакедемона в период от 400 до 390 г. до н.э, скорее всего, не превышало сотни человек, что составляло крайне небольшую часть мужского гражданского населения, численность которого в это время оценивается в пределах от 2 тыс. до 4 тыс. человек. Причем пребывание за границей большинства «командированных» (64%), по-видимому, ограничивалось одним годом (с. 155–157).

Тем не менее война нового типа и необходимость поддержания спартанской гегемонии в эллинском мире поставили перед Спартой такие проблемы, с которыми она прежде никогда не сталкивалась. О нарастании внутренней напряженности в ней свидетельствует количество

политических судебных процессов, обычно сопровождавшихся и коррупционными скандалами. Из девяти таких процессов (только против граждан, не принадлежавших к царским домам Спарты), зафиксированных на протяжении классической эпохи, семь приходится на время между 404 и 378 гг. до н.э. Заморские экспедиции, отмечает автор, означали также беспрецедентное усиление влияния и укрепление позиций знатных граждан. Хотя традиционно в регулярной лакедемонской армии был очень многочисленный командный состав, он действовал под руководством царя в очень жестких рамках субординации, в которых проявления инициативы эффективно пресекались. Командиры, действующие за рубежом самостоятельно, напротив, могли принимать независимые военные и даже политические решения, которые часто не совпадали с позицией официальных спартанских властей. Причем дестабилизирующий внутривнутриполитический эффект такой практики, с точки зрения автора, усиливало еще и то обстоятельство, что командующие происходили из иной возрастной группы, чем та, которая традиционно оказывала наибольшее влияние на политическую жизнь Спарты. Политические решения в ней всегда определялись могущественным консервативным «лобби» стариков, советом старейшин (*gerousia*), членами которого могли быть лица в возрасте не менее 60 лет. Военные командиры, напротив, как правило, были относительно молодыми, 40–50-летними (иногда даже еще более молодыми) людьми, политическая роль которых внутри Спарты формально была крайне мала. Рост влияния последних вследствие их богатства и военных дарований представлял собой, таким образом, реальную угрозу для традиционной спартанской геронтократии (с. 165–167).

Более того, система отбора командующих посредством назначения на основе личных связей резко контрастировала с процедурой открытого избрания народным собранием геронтов или эфоров. Тем самым она способствовала развитию олигархических тенденций и разрушению единства гражданского коллектива. Солидарности граждан наносило ущерб, по-видимому, и то обстоятельство, что рядовые спартиаты практически были отстранены от участия в зарубежных военных экспедициях. В лакедемонских войнах традиционного типа, которые велись гражданским ополчением, рядовые воины имели такую же возможность обрести личную славу, как и их командиры. Однако теперь военная слава (а также и военная добыча) доставалась исключительно знатым лицам. Вместе с тем, поскольку победа в войне и, следовательно, удовлетворение честолюбивых амбиций полководцев зависели уже не от граждан-

ских контингентов, среди элиты формировалось представление и о бесполезности рядовых граждан в качестве участников политического процесса (с. 167).

Если традиционная политическая система Спарты ограничивала дестабилизирующий потенциал роста имущественного неравенства, то описанные выше явления трансформировали социально-политический контекст, резко усилив зависимость статуса от богатства и личных связей. Приток иноземных сокровищ, полагает автор, мог стимулировать концентрацию земли в руках немногих представителей элиты. Обладание большой массой денег, вероятно, должно было увеличить количество сделок по поводу земельной собственности. При этом золотая и серебряная монеты могли использоваться в подобных актах, которые номинально выступали в форме подарков, наследства или приданого. Тем самым новые источники богатства ускоряли и процесс падения численности гражданского коллектива Спарты (с. 168).

Еще более прояснить рассмотренные аспекты кризиса спартанского общества, с точки зрения автора, может помочь сравнительный анализ с последствиями длительных войн и имперской экспансии для Римской республики. Такое сопоставление обнаруживает многочисленные черты сходства, среди которых он выделяет: продление полномочий магистратов в чрезвычайных обстоятельствах и создание новых должностей (главным образом промагистратур) для поддержания имперского господства, появление талантливых индивидов, достигающих исключительного положения во время войны, конфликты между старейшими сенаторами и молодыми полководцами, дестабилизирующий эффект потока заморских богатств и концентрацию земли в руках элиты. Однако разница между спартанским и римским «империализмом» по результатам воздействия на внутреннее состояние общества, по мнению С.Ходкинсона, гораздо более значительна.

Поскольку, пишет он, римская экспансия развивалась в течение длительного периода, с IV по I в. до н.э., римляне в значительной степени сумели адаптировать к ней свою социальную структуру, прежде всего, путем распространения прав римского и латинского гражданства на все новые италийские общины, вследствие чего Рим никогда не сталкивался с проблемой сокращения живой силы. Напротив, наращивание последней происходило по мере расширения завоеваний. Спартанцы же проявили меньшую приспособляемость, пытаясь сохранить неизменной свою архаичную социальную систему с ее крайне небольшим гражданским коллекти-

вом, абсолютно закрытым для новых членов, но регулярно выдавливающим за свои рамки прежних граждан. Более того, если Рим допускал сравнительно высокую степень открытости даже на уровне своей военно-политической элиты, то в Спарте замещение военных постов ограничивалось узким кругом людей наиболее высокого происхождения (с. 172).

Суровые запретительные меры в Спарте на внешние признаки богатства вели к тому, что подавляющая масса захваченных за рубежом ценностей могла направляться их владельцами исключительно на приобретение земли. Однако, в отличие от постоянно растущего *ager Romanus*, территория Лакедемона оставалась неизменной со времени Второй Мессенской войны (вторая половина VII в. до н.э.). Все плодородные земли, населенные илотами, давно были поделены между гражданами. Поэтому концентрация земельной собственности здесь могла происходить только в результате ее перемещения из рук более бедных спартиатов в руки более богатых. В Риме, по крайней мере в эпоху классической республики, рост землевладения знати в основном происходил путем так называемой «оккупации» общественной земли (*ager publicus*), тогда как земельные потери бедняков отчасти компенсировались бесплатной раздачей участков в процессе колонизации завоевываемой римлянами Италии. Таким образом, рядовые граждане Рима также получали определенные выгоды от имперской экспансии, что существенно снижало уровень социальной напряженности в обществе (с. 173).

В заключение автор еще раз подчеркивает то обстоятельство, что внешние войны и создание «империи» хотя и не были непосредственной причиной кризиса спартанского общества, они тем не менее значительно ускорили его наступление, крайне обострив явления пауперизации гражданского населения и демографического упадка. Результатом была утрата Спартой не только гегемонии в Греции и статуса «великой державы», но и части территории самого спартанского государства (с. 174).

*А.Е.Медовичев*

**БИЛЛОУЗ Р.А.  
ЦАРИ И КОЛОНИСТЫ:  
АСПЕКТЫ МАКЕДОНСКОГО ИМПЕРИАЛИЗМА  
BILLOWS R.A.**

**Kings and colonists: Aspects of Macedonian imperialism. — Leiden: Brill, 1995. — XV, 240 p. — (Columbia studies in classical tradition; Vol. 22). — Bibliogr.: p. 221–230.**

В книге профессора Колумбийского университета Ричарда Биллоуза исследуются истоки македонского империализма в период государственного строительства при царе Филиппе II. Значительное внимание автор уделяет вопросу о том, как македоняне и их правители оправдывали свое имперское господство в собственных глазах, а также в глазах подвластного населения и граждан союзных греческих полисов. Важным направлением данной работы является, кроме того, изучение характера и масштабов македонской колонизации на Ближнем Востоке, а также демографических последствий для самой Македонии военных потерь и переселений периода восточных походов Александра Великого и борьбы диадохов.

Термин «империализм», как отмечает автор, в широком смысле используется применительно к идеологии экспансии и эксплуатации, а также для обозначения процесса осуществления этой идеологии на практике. В данной работе, пишет он, под «империализмом» понимается весь комплекс мер, направленных на создание империи и обеспечение ее функционирования.

Термин «Македонская империя», отмечает Р.Биллоуз, может применяться как в очень широком, так и в весьма узком значении. Поскольку правители собственно Македонии утратили контроль над остальной

империей после 315 г. до н.э., то его можно распространять только на очень короткий период продолжительностью в несколько лет. Однако, пишет автор, даже после отделения от Македонии всех завоеванных Александром территорий они продолжали управляться македонскими династиями при сохранении политического господства македонской и греческой элиты, что придает определенный смысл более широкому применению термина «Македонская империя» как в пространственном, так и в хронологическом отношении. Тем более что сами древние рассматривали именно Западную Азию — территории, составлявшие на протяжении почти всей эллинистической эпохи ядро государства Селевкидов, — как Македонскую державу *par excellence* (*Makedonike Basileia*). Поэтому в данном исследовании основное внимание автора, помимо собственно Македонии, концентрируется также и на этой зоне македонского господства (с. XIV–XV).

Рассматривая причины неожиданно быстрого (в течение жизни двух поколений) превращения Македонии — первоначально небольшого и политически рыхлого образования в Северной Греции — в огромную «мировую» державу, автор обращает внимание прежде всего на весьма значительный (по греческим масштабам) военно-экономический потенциал страны. Македония обладала мощной сельскохозяйственной базой, большими рудными запасами, особенно золота и серебра. Однако самым главным ее ресурсом было население, которое, согласно подсчетам исследователя, во второй половине IV в. до н.э. составляло от 1 млн. до 1,5 млн. человек и, таким образом, в несколько раз превосходило численность населения любого из самых крупных греческих полисов (с. 7–8). Используя эти ресурсы, Филипп II создал новую, прекрасно организованную македонскую армию, основой которой стала фаланга тяжеловооруженной пехоты, существенно отличавшаяся от обычной греческой фаланги гоплитов. Последняя, как уже не раз отмечалось в литературе, явилась одним из решающих факторов становления и подъема греческих городов-государств. Точно такую же, если не большую, роль, с точки зрения автора, сыграла македонская фаланга в создании нового македонского государства. Служба в ней жителей из различных, прежде слабо связанных между собой областей страны способствовала преодолению региональной обособленности и возникновению чувства «национальной» общности всех македонян — единого вооруженного народа. В то же время фаланга, объединявшая в своих рядах македонских крестьян и пастухов, значительно повысила политическое значение рядового населения, так как именно общеармейское собрание выбирало царя и яв-

лялось высшей судебной инстанцией (по крайней мере, формально). Тем самым был создан противовес могуществу землевладельческой аристократии всадников и расширена социальная база царской власти. Именно опора на фалангу позволила Филиппу II положить конец политическим притязаниям враждующих ветвей царского дома Аргеадов и центробежным устремлениям различных племенных вождей и династов. Таким образом, считает Р.Биллоуз, централизованное македонское государство и сама македонская «нация» были в значительной степени порождением македонской армии со всеми вытекающими из этого факта последствиями (с. 17). (При этом в качестве исторической параллели автор приводит Пруссию XVII—XVIII вв., которая, по словам Мирабо, была не государством, обладающим армией, но, скорее, армией, имеющей свое государство.)

Прямым следствием описанной ситуации и был македонский империализм. Армия Филиппа, хотя и «национальная» в своей основе, формируемая по конскрипционной системе, была тем не менее по существу профессиональной армией и, следовательно, должна была хорошо оплачиваться и постоянно находиться при деле. Ее центральное положение в государственной системе естественно вело к продолжению процесса завоеваний, которые, благодаря совершенству созданной Филиппом военной машины, осуществлялись быстро и эффективно. Их сопровождала самопрославляющая и самооправдывающая пропаганда, в которой основной акцент делался на военной доблести и военном превосходстве македонян. Именно этим и обосновывалось их право на господство и управление завоеванными территориями.

Эллинистические державы, отмечает Р.Биллоуз, были военными монархиями, созданными армиями (как и сама Македония) и в интересах армий. Их основатели — Александр Великий, Антигон Одноглазый, Лизимах, Селевк и Птолемей, а также их преемники — были военными людьми, полководцами по преимуществу, власть и положение которых определялись способностью успешно руководить армиями. Их царский статус основывался не на традиции или законе, а исключительно на военной победе (с. 20—21).

В целом, как считает автор, основной функцией эллинистических империй был сбор налогов и податей для содержания армий и бюрократии, обеспечивавших существование этих империй. Население греческих городов и греко-македонских колоний, расположенных на территории эллинистических государств, пользовалось привилегиями, поскольку из его состава пополнялись ряды вооруженных сил и администрации, в

то время как для массы местного населения причастность к империи выражалась лишь в выполнении разного рода повинностей. Следовательно, полагает Р.Биллоуз, история македонского империализма — это почти в чистом виде история греко-македонской элиты (с. 23).

Завоевание территории посредством войны, согласно господствующим представлениям, считалось одним из наиболее законных путей приобретения владений. Для их обозначения применялся особый термин — *doriktetos chora* («добытая копьем земля»). Именно он чаще всего использовался при описании притязаний диадохов на управление теми или иными территориями. Не случайно также, что изображения копья или правителя, опирающегося на копье либо пронзающего им противника, являются весьма распространенными сюжетами эллинистического искусства. Идея легитимности власти на основе концепции *doriktetos chora*, выраженная с помощью указанных образов, наблюдается и в монетных эмиссиях, являвшихся в руках эллинистических царей наиболее массовым средством имперской пропа-ганды (с. 27–28).

Важная сама по себе идея *doriktetos chora* была только частью более общей идеи врожденной военной доблести и военного (а также культурного и даже духовного) превосходства греков и македонян над азиатами. Эта идея была отчетливо выражена уже в V в. до н.э. Эврипидом, а окончательное оформление получила в IV в. у Исократы и Аристотеля, обосновавших на ее основе справедливость господства эллинов над варварами (с. 29). Позднее идея превосходства македонян в качестве хозяев Азии постоянно внедрялась всеми возможными средствами: литературными произведениями, монументальной скульптурой и живописью, монетной чеканкой. Тем же целям служила и героизация македонянами Филиппа и Александра, а также их соратников, использовавшими подвиги этих великих *progonoi* для обоснования претензий на те земли, которые были завоеваны героическими предками (с. 55).

В эллинистических империях, созданных македонскими полководцами, огромную роль играли греческие города, являвшиеся главными поставщиками кадров для армии и бюрократического аппарата. Соответственно, эллинистические цари, заинтересованные в лояльности этих городов, должны были использовать различные (политические, экономические, идеологические) методы нейтрализации глубоко укоренившегося среди большинства греков негативного отношения к монархии. Греческая полисная традиция, основными принципами которой были автономия, верховенство закона и участие граждан в политической жизни,



сохраняло свое значение в течение всего эллинистического периода не только в старых городах материковой Греции и Ионии, но и в новых городах, основанных македонскими династиями на востоке. Однако политическая реальность состояла в том, что большинство полисов находилось или в сфере влияния, или в сфере прямого господства тех или иных эллинистических царей. Одним из ключевых механизмов их взаимодействия была, как отмечает Р.Биллоуз, система эвергетизма, т.е. благодеяний (со стороны царей) и взаимосвязанных с ними ответных почестей (со стороны городов) (с. 71). Она обнаруживает известное сходство с системой литургий, широко распространенной в Греции, по крайней мере, с V в. до н.э. Однако эллинистические цари принимали позу благодетелей греков с известной долей цинизма, используя эвергетизм как средство (удобное и для населения полисов) прикрытия очевидного факта своего господства над городами и не столь заметного факта зависимости самих македонских правителей от отношения к ним граждан полисов (с. 74–75). Несмотря на то что города сохранили не более чем тень своей прежней свободы, степень ее была вполне достаточной для поддержания целостности, роста и процветания в качестве жизнеспособных структурных единиц эллинистической экономики и культуры и в качестве могучих бастионов греко-македонской власти на востоке (с. 80).

Наряду с городами, другой важнейшей, ключевой структурой имперского контроля в Азии на местном уровне были владельцы крупных поместий на так называемой «царской земле». Система царских земельных пожалований, как считает автор, восходит к старой македонской практике эпохи Филиппа II или, возможно, еще более раннего времени. Поместья были наследственными и неотчуждаемыми, но в любой момент могли быть отобраны в казну, и право владения нуждалось в подтверждении со стороны каждого нового правителя. Пожалование поместья не было платой за уже исполненную службу, но скорее стимулом сохранения лояльности его владельца в будущем. Получателями поместий выступали, как правило, греки и македоняне, служившие в качестве военных командиров высшего и среднего звена и администраторов высокого ранга. Таким образом, система предоставления владений на «царской земле» была призвана обеспечить верность греко-македонской элиты на завоеванных территориях (с. 136–137). Однако основу имперского господства здесь составляло все же рядовое македонское войнство, расселенное по многочисленным военным колониям (клерухиям и катойкиям), не имевшим полисного статуса. Военная служба и преданность самих

воинов и их потомков обеспечивались предоставлением достаточно крупных участков земли — клеров — в условное владение с правом наследования. Обрабатывали их местные, приписанные к клерам крестьяне, представлявшие собой разновидность «крепостных» (Iaoi) (с. 178).

В целом, однако, отмечает Р.Биллоуз, собственно македоняне по происхождению скорее всего не составляли большинство тех, кто населял «македонские» клерухии и катойкии. Следует иметь в виду, пишет он, что никакой организованной эмиграции из Македонии на восток после 315 г. до н.э. не было, а из тех, кто ушел в поход с Александром, значительная часть из числа оставшихся в живых вернулась домой. Не вызывает сомнений и тот факт, что в эллинистическом мире термин «македоняне» очень скоро приобрел в большей мере военно-технический, чем «национальный» оттенок, и объединял всех, кто использовал македонский стиль фалангового боя и соответствующее вооружение. Очень часто это были греки, египтяне, представители различных азиатских народов. Но по указанной причине они рассматривались как «македоняне» и сами считали себя таковыми (с. 155—157).

Завершает книгу анализ последствий, которые имело для самой Македонии создание «Македонской империи». В литературе, отмечает Р.Биллоуз, очень часто подчеркивается негативный характер этих последствий, особенно в демографическом плане. Исследователи, как правило, утверждают, что людские потери во время завоевательных походов и последующей эмиграции вызвали долговременное падение численности македонского населения и, соответственно, ослабление военного потенциала страны в III—II вв. до н.э., сыгравшее роковую роль в войнах с Римом. Произведя некоторые подсчеты, позволяющие проследить динамику численности населения Македонии, оценить масштабы военных потерь и размеры эмиграции, автор приходит к выводу об ошибочности данного тезиса. Создание империи, полагает Р.Биллоуз, не оказало сколько-нибудь существенного влияния на Македонию главным образом благодаря тому, что завоеванные территории очень скоро оказались под властью самостоятельных правителей. Относительная слабость Македонии Антиго-нидов по сравнению с Македонией Аргеадов времени Филиппа II объясняется не указанными выше причинами. Общее число убитых и оставшихся на востоке или переселившихся туда македонян за период с 334 по 319 г. до н.э. составило, по расчетам автора, 35—40 тыс. человек, т.е. около 3% от всего населения страны. Такие потери не могли иметь катастрофических последствий и восполнялись за счет естествен-

ного прироста в течение нескольких лет (с. 204). Подлинной трагедией для Македонии явилось нашествие кельтов (280–277 гг. до н.э.), в течение четырех лет опустошавших территорию страны. Только в 272 г. до н.э. Антигон Гонат установил полный контроль в разоренном государстве. Все 35 лет его правления (277–239 гг. до н.э.) ушли на ликвидацию последствий кельтского погрома. Однако восстановить достигнутый при Филиппе II уровень могущества и процветания Македония не смогла даже к концу III в. до н.э, к моменту своего столкновения с Римом (с. 211–217).

*А.Е.Медовичев*

**ОКЛИ С.  
РИМСКОЕ ЗАВОЕВАНИЕ ИТАЛИИ  
OAKLEY S.**

**The Roman conquest of Italy // War and Society in the Roman World / Ed. by Rich J., Shipley G. – L.; N.Y., 1993. – P. 9–37.**

В работе Стефена Окли рассматриваются социальные и экономические основы раннего (до великих завоевательных войн в Средиземноморье) периода римской экспансии в контексте так называемой «модели ежегодной войны», практиковавшейся Римом, как считает автор, в раннереспубликанскую эпоху.

Военные кампании Римской республики на протяжении большей части V в. до н.э., пишет исследователь, фактически являются продолжением начавшейся задолго до этого серии конфликтов в Центральной Италии между горными народами (вольсками, эквами, самнитами) и обитавшими на равнине латинами (включая самих римлян) и герниками. Учитывая примитивную организацию обеих сторон, эти конфликты не были регулярной войной, но по большей части грабительскими рейдами на территорию противника. Античные писатели (Ливий и Дионисий) подчеркивают постоянство римских наступательных действий, организуемых консулами и диктаторами, но даже они иногда признают, что результаты этих походов сводились в основном к опустошению полей и угону скота. Однако в конце V в. до н.э. после осады этрусского города Вейи и связанного с ней введения солдатского жалования военные кампании римлян приобретают все более систематический и профессиональный характер. В следующем, IV столетии до н.э., с точки зрения автора, зарождаются многие классические черты римской экспансии,

среди которых он особо выделяет широкое использование союзнических людских ресурсов и колонизацию завоеванных земель (с.14).

За время покорения римлянами всей территории Апеннинского полуострова в течение примерно 150 лет (до 265 г. до н.э.) только для 13 лет нет сообщений в источниках о военных действиях. Эта модель ежегодной войны, отмечает С.Окли, стала, таким образом, еще одной ведущей чертой римской экспансии за много десятилетий до того, как римские легионы вышли за пределы Италии. Современные исследования римского империализма, пишет он, подчеркивают исключительную воинственность римского общества, интенсивность его военной деятельности, в которой регулярно принимала участие значительная часть гражданского населения. Государственные институты Римской республики были военными по характеру и функциям, а ее культура была пропитана воинской этикой. Однако эти факты, хотя и важные сами по себе, не объясняют природы римского империализма, являясь, скорее, лишь его симптомами.

Одним из возможных вариантов объяснения данного феномена, с точки зрения автора, может служить теория итальянского ученого А.Момильяно, который видел решение проблемы в характере отношений Рима с его италийскими союзниками. Все категории последних, различные в правовом отношении, имели одну общую обязанность — поставлять войска в римскую армию, что давало в распоряжение Рима огромные резервы военной силы, которые к тому же постоянно возрастали по мере расширения завоеваний и присоединения к римской федерации все новых италийских общин. Но эта система имела еще более глубокий эффект. Поскольку союзники выполняли исключительно военные функции, их военные обязательства были единственной видимой связью между ними и Римом, а война, следовательно, — единственной формой, в которой римско-италийский союз только и мог реализовывать свое существование. Сохранить такую систему можно было, лишь постоянно поддерживая ее в действующем состоянии, т.е. в состоянии почти перманентной войны, максимально используя людские ресурсы союзников. Прекращение войн означало бы и прекращение выполнения союзнических обязательств и, как следствие, распад союза (с. 17).

Разумеется, пишет С.Окли, теория А.Момильяно не может служить исчерпывающим объяснением римской агрессии, и правы те исследователи, которые полагают, что ее причины были обусловлены также, а возможно и в первую очередь, самой структурой римского общества. Но рассматривая столь сложный феномен, как римский империализм, сле-

дует учитывать все возможные варианты его интерпретации. Необходимо также, отмечает он, иметь в виду, что ежегодная война была эндемическим состоянием не только Рима, но и всех остальных италийских государств и племен. Римское завоевание лишило их возможности самостоятельно вести боевые действия, но оно не могло устранить в этих обществах внутренние структуры, ориентированные на агрессию. Таким образом, заслуга А.Момильяно, считает автор, состоит в том, что он выявил необходимость для римлян, сознательно или неосознанно, направлять эту агрессию для достижения собственных целей. Растрачиваемая прежде в войнах друг с другом и с Римом, союзническая военная мощь была теперь соединена, чтобы обеспечить численное превосходство, победу и завоевания для Рима. Но война под римским руководством сама по себе была весьма прибыльным делом и тем самым еще больше поощряла воинственность италийцев. В качестве военных партнеров Рима союзники получали свою долю выгод, причем не только в форме «движимой» добычи, но и в виде земель, конфискованных у побежденных врагов и используемых для выведения колоний с участием как римлян, так и италиков. Этим как бы восполнялись прежние территориальные потери союзных общин, побежденных в свое время Римом и лишенных части собственных земель. Жертвуя своей политической независимостью, италийские союзники Рима обретали безопасность, защиту и прибыль за относительно умеренную плату, поскольку основное бремя войн несли все же римские граждане. Это позволяет понять лояльность союзников Риму и объяснить как динамизм, так и прочность созданной им системы (с. 18).

В качестве важнейшего стимула римской экспансии автор выделяет захват новых земель и их колонизацию, что позволяло решать внутренние, крайне острые проблемы римского общества, такие как хроническая задолженность мелких землевладельцев-крестьян и утрата ими вследствие этого своих участков земли. Реально программа колонизации означала «экспорт» из Рима лишних бедняков и, следовательно, снижение уровня социальной напряженности в обществе. В то же время она позволяла неимущим поправить свое материальное положение путем получения новых, более обширных участков земли и тем самым избежать долговой зависимости. Характерно, пишет С.Окли, что именно в период ослабления колонизационного процесса (между галльским погромом Рима и войной с Латинским союзом, т.е. с 389 по 342 г. до н.э.), когда в источниках отсутствуют упоминания о распределении земель, тема долгов становится наиболее острой в сочинениях античных историков,

описывающих эти годы (с. 21). Примечательно, что после 342 г., когда были ликвидированы все остатки патрицианской монополии на *ager publicus* и начала осуществляться великая программа колонизации, в ходе которой римляне расселились по всей Центральной Италии, источники едва касаются некогда любимой темы долгов. Что касается известного закона (*lex Poetelia*) об отмене *nexum* (формы долгового рабства), который должен быть датирован 326 либо 313 г. до н.э., он, по мнению С.Окли, в равной степени мог означать как рост задолженности, так и ее сокращение.

В целом, однако, как полагает автор, острота проблемы долгов в Риме постепенно уменьшалась, и расселение многочисленных плебеев на завоеванных территориях служит объяснением этой тенденции. Таким образом, пишет исследователь, сама структура римского общества и развивавшиеся в нем социально-экономические процессы заключали в себе внутренний импульс к войне, захвату земли и колонизации. Следовательно, заключает он, колонизация занимала центральное место в феномене римского империализма до 264 г. до н.э. (с. 22).

Наряду с захватом земли, захват рабов, по-видимому, становится еще одним важным стимулом к ведению войн уже в рассматриваемый период. В последнее время, пишет С.Окли, ученые все более склоняются к тому, что римская экономика в значительной степени начинает базироваться на рабстве уже в IV и в первой половине III в. до н.э., а не во II в., как считалось ранее. Это предположение может быть подкреплено как различными сведениями письменных источников, так и более общими соображениями.

Наиболее важным свидетельством значимости рабства в середине IV в. до н.э. является утверждение Ливия о том, что 5%-ный налог на манумиссию (отпуск на волю) рабов восходит к закону, принятому еще в 357 г. до н.э. Анализ контекста, в котором он упоминается, не выявил никаких мотивов для фабрикации или фальсификации этого факта анналистами. Из этого следует, что уже в середине IV в. до н.э. совершалось достаточно много подобных актов, чтобы государство могло рассматривать их как источник дохода, и, соответственно, имелось значительное количество рабов. Косвенным подтверждением их многочисленности служит также вопрос о включении вольноотпущенников во все римские трибы, а не только в четыре городские, поднятый цензором Аппием Клавдием Цеком в 312 г. до н.э. Вряд ли этот вопрос, отмечает автор, вызвал бы

столь острую дискуссию в римском обществе, если бы число вольноотпущенников было незначительным (с. 23–24).

Одним из главных источников рабства была война. И на этот счет имеются прямые цифровые данные. Так, из сообщений Ливия о боевых действиях в Центральной Италии в период между 297 и 293 гг. до н.э. следует, что только за эти пять лет было захвачено в плен и обращено в рабство около 69 тыс. человек. В свете всей последующей практики римских войн нет особых оснований сомневаться в достоверности этих цифр. Вряд ли также ситуация в этой сфере в 290-х годах была каким-то новым явлением в римской истории (с. 25).

Политические конфликты V и IV столетий до н.э., пишет С.Окли, становятся понятны, если только принять как факт значительную разницу в размерах землевладения (и, следовательно, богатства) между состоятельными и малоимущими гражданами. Дополнительный труд был необходим в крупных поместьях, и эта потребность объясняет существование института долгового рабства в Риме. Однако вместе с прогрессирующим улучшением положения бедняков в течение IV в. в результате социальных реформ и колонизации и вместе с упадком, а затем и отменой института нехум этот традиционный источник дополнительного труда становился все менее доступным. В этих условиях поступление рабов извне в ходе все более успешных войн в данный период должно было восполнить нехватку рабочей силы. Отсюда легко предположить, что подневольный труд свободнорожденных римских бедняков все более заменялся трудом рабов. При этом постоянное расширение сферы римской агрессии вело к бурному росту территории *ager publicus*, являвшейся объектом эксплуатации преимущественно богатых людей, а это, в свою очередь, означало рост потребности в рабах. И даже более или менее состоятельные крестьяне, если судить по афинским аналогиям, могли позволить себе приобрести в помощь одного или нескольких рабов, полагает автор. Таким образом, отмечает он, уже в ходе Самнитских войн (327–290 гг. до н.э.) возможность получения все большего количества рабов в качестве побочного продукта успешных боевых действий должно было стать важным фактором в формировании в римском обществе взгляда на войну как на весьма прибыльное дело (с. 26).

Экономические выгоды войны проявляли себя и другими путями. Хорошо известно, пишет С.Окли, что внешний облик Рима и многих других городов Италии сильно изменился во II–I вв. до н.э. благодаря строительству и украшению, финансируемому за счет заморских завоеваний. Менее



известно то, что в одних только литературных источниках имеются важные сведения, позволяющие отнести начало этого процесса ко времени около 300 г. до н.э. Действительно, только 18 храмов было возведено в период от 753 до 303 г. до н.э., в то время как между 302 и 291 г. до н.э., т.е. всего за 11 лет, римляне построили девять новых храмов. Но помимо храмов в те же годы велось строительство акведуков и дорог. Большой объем строительства приходился также на новые колонии. Все это требовало огромных издержек. И если рабы должны были обеспечивать большую часть трудовых затрат, то финансирование всего остального, вероятно, осуществлялось из военной добычи, взятой у самнитов и других врагов. В этом контексте вполне оправданным выглядит предположение некоторых ученых о том, что римляне впервые начали чеканить собственную монету в силу необходимости финансировать строительство Аппиевой дороги (с. 27). Так, изменение внешнего облика Рима символизировало расширение сферы его господства в Италии.

В целом, заключает автор, Рим был обществом, формируемым непрерывной войной, и в основных своих чертах эта модель (война — ограбление завоеванной территории — финансирование за счет этого следующей войны — захват добычи и рабов — захват земли — образование крупных поместий, обрабатываемых преимущественно рабами, — рост городов и богатства Италии) сложилась уже около 300 г. до н.э. (с. 28). «Жаждающих добычи и рабов, нуждающихся в свободных землях, движимых вперед идеологией победы и ежегодным ритмом войны, римлян 300 г. до н.э., — пишет он, — с трудом можно рассматривать как сражающихся только для защиты отечества... и хотя было бы абсурдом полагать, что именно римляне начинали все те войны, в которые они были вовлечены, идея Полибия о том, что уже ко времени войны с Пирром они задумали план господства в Италии, возможно, заслуживает доверия» (с. 31).

*А.Е.Медовичев*

**РИЧ ДЖ.  
СТРАХ, АЛЧНОСТЬ И СЛАВА: ПРИЧИНЫ РИМСКОЙ  
АГРЕССИИ В ЭПОХУ СРЕДНЕЙ РЕСПУБЛИКИ  
RICH J.**

**Fear, greed and glory: The causes of Roman  
war-making in the middle Republic // War and society in the  
Roman world / Ed. by Rich J., Shipley G. — L.; N.Y., 1993. —  
P. 38–68.**

Статья Джона Рича посвящена анализу существующих в историографии теорий римского империализма. Автор рассматриваются тенденции и факторы развития римской войны и экспансии в классический период республики (III–II вв. до н.э.).

До недавнего времени, пишет он, в науке господствовала доктрина, обязанная своим происхождением известному немецкому антиковеду XIX столетия Т.Моммзену, который доказывал, что римский империализм был, по существу, оборонительным. Согласно его теории, главным фактором, побуждавшим римлян предпринимать свои войны, был страх перед могущественными соседями, который в некоторых случаях был обоснованным, а в других — ошибочным. Перспектива экономической выгоды не играла важной роли в развязывании войн, а римская территориальная экспансия была в основном непреднамеренной (с. 39).

Впервые основательная критика этой теории была предпринята в работе Уильяма Харриса в 1979 г.<sup>1</sup>. У.Харрис полагал, что наиболее важным фактором, толкавшим римлян к войне, было их стремление к

---

<sup>1</sup> Harris W.V. War and imperialism in Republican Rome, 327–70. — Oxford, 1979. — XI. 293 p.

славе и экономическим выгодам, которые давали успешные войны. Соображения обороны, хотя и играли определенную роль в некоторых конфликтах, тем не менее имели второстепенное значение. Экспансия, доказывал он, была главной целью римлян, и они, как правило, не упускали возможность аннексировать чужую территорию, за исключением тех случаев, когда особые обстоятельства заставляли их поступать иначе (с. 40).

Взгляды У.Харриса на природу римских войн и империализма, пишет автор, вызвали широкий отклик среди ученых уже в силу того, что доктрина «оборонительного империализма» была слишком парадоксальна по своей сути. Однако его позиция, в свою очередь, также вызвала ряд критических замечаний. В наиболее концентрированном виде они были изложены Дж.Нортом<sup>1</sup> с точки зрения которого, Харрис слишком много внимания уделил анализу процесса принятия решений и недостаточно остановился на тех структурах римского общества, которые толкали его к войне и экспансии. По мнению самого Нортона, поскольку Харрис убедительно продемонстрировал агрессивный характер римских войн, фокус дебатов теперь должен быть смещен в сторону изучения более глубокой проблемы происхождения, значения и неизбежного исчезновения экспансионистских структур в римском обществе и государственной организации (с. 43).

Действительно, отмечает Дж.Рич, оценка Харрисом структурной роли римской войны не является исчерпывающей. В частности, он мало уделяет внимания проблеме взаимосвязи войны и рабства и полностью упускает из виду функцию италийских союзников Рима. Между тем война генерировала поступление рабов, доступность которых трансформировала италийское сельское хозяйство таким образом, что еще больше увеличивала спрос на них, удовлетворить который могли только новые войны. Участие в войнах италийских союзников было единственной формой их эксплуатации со стороны римлян. И если Рим собирался извлекать какую-то пользу из созданного им союза, он должен был постоянно находить применение италийским воинам. Разумеется, пишет автор, нет оснований утверждать, что необходимость поддерживать на должном уровне поступление рабов или держать всегда при деле италийских союзников непосредственно влияла на решения римского прави-

---

<sup>1</sup> North J.A. The development of Roman imperialism // Journal of Roman studies. – L.; N.Y., 1981. – N 71. – P. 1–9.

тельства относительно войн. Тем не менее факторы такого рода, осознавали это римляне или нет, играли свою роль в ограничении рамок их выбора и помогают объяснить их постоянную склонность к ведению войн.

Упрекая Харриса в слишком упрощенном подходе к проблеме римского империализма, отмечает автор, Норт, в свою очередь, пытается доказать, что все основополагающие структуры римского общества работали в одном направлении — непрерывной войны и экспансии. Такое представление, по мнению Дж.Рича (которое он в дальнейшем старается обосновать), не верно. В целом, пишет он, Харрис и Норт, несмотря на кое-какие различия в их позициях, по существу, едины в одностороннем взгляде на римскую войну и империализм, который представляется автору в основе своей столь же ошибочным, сколь и старая концепция «оборонительного империализма». Римская экспансия, отмечает Дж.Рич, не была непрерывным процессом, протекающим в одном и том же ритме. И на уровне сознательного принятия решений, и на уровне основных социально-политических структур определяющие факторы и тенденции ее развития были многочисленны и сложны и не всегда действовали в одном направлении (с. 44).

Характер войны и формы ее ведения, пишет автор, претерпевали значительные изменения в течение истории республики. В период до 264 г. до н.э., когда военная активность римлян была ограничена Италией, их война имела ежегодный ритм. Военные действия велись в форме сезонных летних кампаний. Соответственно, войны находились под оружием максимум в течение нескольких месяцев в году. Первые серьезные изменения в эту модель внесла Первая Пуническая война (264–241 гг. до н.э.), когда римляне оказались вынужденными сохранять свое военное присутствие в Сицилии на постоянной основе круглогодично. Вторая Пуническая война (218–201 гг. до н.э.) велась на различных, удаленных друг от друга театрах одновременно: в Италии, Испании, Сицилии, Иллирии, Греции и Африке. Этот период был для Рима временем беспрецедентного напряжения всех сил. Потери были огромны, особенно в первые годы войны (в 218–215 гг.), когда по самым скромным подсчетам погибло 50 тыс. граждан — 1/6 всех взрослых мужчин. Римом были мобилизованы невиданные прежде силы. С 214 по 206 г. под оружием ежегодно находилось 20 и более легионов (с. 45).

В первой трети II в. до н.э. римские военные усилия, хотя и меньшие, чем в период Второй Пунической войны, оставались более значительными, чем до нее. Среднее число ежегодно задействованных легио-

нов в 200—168 гг. до н.э. достигало цифры 8,75, а в отдельные годы доходило до 10 и более. В дальнейшем, однако, вспышки военной активности чередовались с периодами относительного затишья вплоть до конца II в. до н.э., когда Рим снова оказался втянутым в большие войны на ряде фронтов, из которых наиболее опасным было столкновение с кимврами и тевтонами. О снижении военного напряжения в период с 167 до 91 г. до н.э. свидетельствует и сокращение среднего числа легионов до 6,5, и только последние семь—восемь лет II столетия отмечены цифрой 10 и более легионов (с. 46—47).

Таким образом, заключает автор, уровень военной активности Рима демонстрирует существенные колебания в степени интенсивности вплоть до наличия относительно мирных периодов, иногда довольно продолжительных (как, например, 167—154 гг.). Реальность, следовательно, выглядит сложнее, чем теоретические схемы Харриса или Норта, которые описывают римскую социальную систему как некую специфическую модель, находящуюся в зависимости от постоянной войны и требующую для своего беспрепятственного функционирования поддержания постоянного потока военной добычи (с. 48).

Точно так же, пишет Дж.Рич, не была постоянной и скорость распространения римской экспансии. На греческом востоке римляне предпочитали сохранять непрямую гегемонию и избегали постоянного военного присутствия там сколь можно долго. Даже на западе их продвижение в целом выглядит удивительно локальным. Так, покорение Северной Италии в основном было завершено около 170 г. до н.э., но Альпы и их предгорья оставались вне римского контроля вплоть до времени Августа, который быстро завершил покорение альпийских племен. Провинциальная граница в Трансальпинской Галлии, установленная после войн конца 120-х годов до н.э., оставалась неизменной до 50-х годов I в. до н.э., когда соперничество с Помпеем заставило Цезаря предпринять завоевание остальной Галлии. Также и в Испании после 133 г. до н.э. экспансия практически прекратилась, и покорение севера Иберийского полуострова было предпринято уже только при Августе, в конце I в. до н.э. Все это, отмечает автор, явно не та ситуация, когда добыча от успешных войн идет непрерывным потоком (с.49).

Наряду с материальными ценностями и рабами, главной выгодой, которую рядовой римский гражданин извлекал из войны, была земля. Начиная с V в. до н.э. римское правительство конфисковывало значительную часть земель у побежденных государств и племен Италии, за

счет которых осуществлялось бесплатное наделение участками безземельных римских плебеев (*assignatio viritana*). Эта практика сыграла важную роль в урегулировании социальных конфликтов, потрясавших раннюю республику, и в поддержании политической стабильности впоследствии. Однако с завершением завоевания Италии и прекращением конфискаций около 170 г. до н.э. закончилось и бесплатное распределение земли. Результатом стали рост недовольства плебса и требования передела земли. Всего этого, считает автор, можно было бы избежать, если бы правительство пожелало предпринять выведение колоний в провинции, но оно даже не рассматривало такую возможность, стойко сопротивляясь немногим предложениям подобного рода вплоть до времени диктатуры Цезаря, когда впервые начала осуществляться широкомасштабная программа создания заморских поселений. Таким образом, со второй половины II в. до н.э. в глазах значительной части граждан война должна была потерять значительную долю своей экономической привлекательности.

В качестве факторов, сдерживающих римскую агрессию, пишет автор, часто выделяется также ограниченность людских ресурсов. Способность римлян мобилизовывать огромные гражданские и союзнические контингенты всегда была фактором фундаментальной важности в их военных успехах. Однако, согласно общему убеждению, сохранение ценового принципа комплектования легионов вело к кризису людских ресурсов во второй половине II столетия до н.э. по мере того, как все большее число граждан опускалось ниже предусмотренного цензом имущественного уровня, и это могло сыграть важную роль в снижении уровня военной активности Рима, которая наблюдается в данный период. Впрочем, как считает Дж.Рич, нет достаточных оснований полагать, что численность мужчин с необходимым цензом падала столь катастрофически, что вела к их нехватке, хотя тревога по поводу неблагоприятных демографических тенденций, обусловленных экономическим положением плебса, возможно, оказывала некоторое воздействие на решения о войнах (с. 54).

В заключительной части статьи автор подробно рассматривает вопрос о том, в какой мере сама технология процесса принятия решений в Римской республике стимулировала или ограничивала экспансию. Теоретически, пишет он, война не могла быть начата без постановления народного собрания. Однако на практике этот вопрос сравнительно редко ставился перед центуриатными комициями. Только относительно восьми

войн за период с 264 г. до н.э. (начало Первой Пунической войны) до 30 г. до н.э. (конец Республики) известно, что по ним проводилось голосование народа. Перечень этих войн показывает, что его согласие обычно испрашивалось лишь в тех случаях, когда возникала перспектива столкновения с «великой державой», такой как Карфаген или крупная эллинистическая монархия. Причем постановление о войне, прежде чем быть вынесенным на решение комиций, должно было получить предварительное одобрение сената. Примечательно, что известен только один случай, когда народное собрание поначалу отклонило такое постановление (в 200 г. до н.э. по поводу кампании против македонского царя Филиппа V), тогда как сенат и консулы настаивали на его принятии. Однако обычная готовность римского народа давать свое согласие на войну и не протестовать, когда она начиналась без консультации с комициями, показывает, что в целом он почти всегда был не против того, чтобы повоевать (с. 56).

В большинстве случаев решение о войне принималось либо сенатом, либо полевыми командующими, которые нередко начинали боевые действия с целью завоевания личной славы, а также ради добычи. Впрочем, такие произвольные, часто ничем не спровоцированные акции вызвали моральное осуждение и критику со стороны политических противников полководца, а иногда и штрафные санкции, даже если война велась успешно. Окончательное решение вопросов войны и мира фактически всегда оставалось прерогативой сената. В сенатских дебатах по этим вопросам, как следует из сочинений античных писателей, на первый план всегда выставлялись аргументы морального характера: несправедливые действия врагов в отношении римлян или их союзников, высокомерие противника и т.п. Важным основанием для войны служили также интересы римского народа. Позиция многих сенаторов, несомненно, определялась расчетом на материальные и моральные прибыли от войны для себя и своих друзей. Особенно, если предполагалось их личное участие в ней в качестве командиров. Однако большинство сенаторов вряд ли могли ожидать персональных выгод от своего решения в пользу той или иной конкретной войны. А для некоторых она могла означать усиление влияния их политических конкурентов. Следовательно, полагает автор, постановления сената по вопросу о войне, скорее всего, должны были мотивироваться общественной пользой (с. 61–62).

Несомненно, пишет Дж.Рич, агрессивность Рима во многом объясняется структурными особенностями римского общества. Обладание

гигантской военной машиной, привычка к войне, материальные выгоды стимулировали стремление к еще большим приобретениям. Однако римляне не всегда имели успех в боевых действиях. Некоторые их противники — Пирр, Ганнибал, галлы — угрожали самому существованию республики. Память об этих угрозах никогда не исчезала, и, по мнению автора, страх перед могущественными соседями, хотя его и нельзя считать ключом к пониманию природы римского империализма, оставался важным фактором в процессе принятия решений. Именно на него часто ссылается Полибий при объяснении действий римлян. Наиболее показательным примером в этом плане является Третья Пуническая война (149—146 гг. до н.э.), причиной которой, согласно Полибию, современнику этих событий, стала вера римлян в то, что их безопасность требует разрушения Карфагена. Если это действительно так, отмечает автор, римляне явно пребывали в тисках иррационального страха, учитывая военный потенциал Карфагена в то время (с.63).

Все сказанное, пишет автор, позволяет сделать вывод о том, что У.Харрис и его последователи, разгромив старую доктрину «оборонительного империализма» Т.Моммзена, взамен предложили концепцию, которая также выглядит односторонней. Разумеется, отмечает Дж.Рич, нельзя отрицать, что почти каждый год римляне где-нибудь вели войну. Но по крайней мере уже во II столетии до н.э. у них не было необходимости стремиться к развязыванию войн, поскольку контролируемая ими зона Средиземноморья расширилась настолько, что состояние войны в одном или двух регионах одновременно было почти непрерывным.

В целом, заключает автор, модель римской войны и экспансии представляется более сложной, чем предложенная У.Харрисом. Природа римской военной активности сильно менялась со временем, и во многих регионах экспансия могла развиваться с перерывами или вообще останавливаться на длительный период. Богатство и престиж, обретаемые в качестве трофеев войны, в определенной степени объясняют готовность римлян к агрессии. Но имелись и другие факторы, как стимулирующие, так и сдерживающие ее. Поэтому любая попытка анализа феномена римского империализма должна иметь комплексный характер и учитывать различные социально-экономические, политические и психологические аспекты, в том числе и такие, как страх, алчность и стремление к славе (с. 65—66).

*А.Е.Медовичев*



**РОЗЕНСТЕЙН Н.  
IMPERATORES VICTI: ВОЕННОЕ ПОРАЖЕНИЕ  
И АРИСТОКРАТИЧЕСКОЕ СОПЕРНИЧЕСТВО  
В СРЕДНЕЙ И ПОЗДНЕЙ РЕСПУБЛИКЕ  
ROSENSTEIN N.**

**Imperatores victi: Military defeat and aristocratic competition in the middle and late republic. — Berkeley etc.: Univ. of California press, 1990. — XII, 224 p. — Bibliogr.: p. 209–216.**

Монография профессора истории университета штата Огайо (США) Н.Розенштейна посвящена проблеме сдерживания политического соперничества в контексте войн Рима IV—I вв. до н.э. в условиях функционирования государственной системы, стимулирующей постоянную и интенсивную борьбу за статус и власть внутри правящей элиты. Рассматриваются идеологические и политические механизмы, ограничивающие деструктивное воздействие аристократического соперничества на государственный организм, но вместе с тем не снижающие накала самой борьбы, без которой было бы немислимо существование республиканской политической системы как таковой.

Настоящее исследование, пишет автор, имеет целью проанализировать действие указанных механизмов на примере *imperatores victi*, полководцев, потерпевших поражения во внешних войнах Рима. Несомненно, что военные успехи полководца повышали его шансы на получение высших магистратур и усиливали влияние победителя как в аристократической среде, так и в массе рядовых граждан. Однако, как показывает далее автор, и побежденные полководцы не испытывали заметных трудностей на политической арене вследствие своих неудач на поле битвы, которые, казалось бы, должны были стать серьезным препятствием для

восхождения таких командующих по лестнице почетных должностей (*cursus honorum*). Очень немногие из них подвергались судебному преследованию по обвинениям, вытекающим из факта поражения, даже в случаях проявлений очевидной халатности и некомпетентности. Более того, *imperatores victi*, как группа, добивались наиболее высоких магистратур, консулатов и цензоров, не менее часто, чем их непобежденные коллеги (с.6).

В период между разгромом римской армии галлами у р.Алли (390 г. до н.э.) и началом гражданской войны между Цезарем и Помпеем 92 римских командира различных рангов были разбиты в сражениях, остались в живых и в дальнейшем не одержали ни одной победы, чтобы компенсировать прежнюю неудачу. Тем не менее от четверти до трети из них продолжали занимать другие выборные должности. Таким образом, заключает Н.Розенштейн, никакой взаимосвязи между проигранными битвами и поражениями на выборах не прослеживается, и при любой мыслимой проверке военные неудачи вовсе не влияли на ход политической карьеры аристократа в долговременной перспективе (с. 13). Избиратели чаще всего не очень интересовались военными способностями людей, которых они ставили во главе армий, о чем свидетельствуют факты переизбрания *imperatores victi* на консульские должности или продления их полномочий в качестве проконсулов даже тогда, когда война велась явно неудовлетворительно. Правда, пишет автор, известны примеры и противоположного характера, но они весьма редки и связаны с крупными военно-политическими кризисами (с. 27). Сенат также почти никогда не вмешивался в распределение провинций (т.е. фактически театров военных действий) даже в тех случаях, когда более важное командование доставалось по жребию полководцу сомнительных качеств.

Вместе с тем, отмечает Н.Розенштейн, некоторые способы обеспечить эффективное руководство войсками все же использовались. Среди них назначение диктатора из числа людей, уже проявивших свои военные таланты, было наиболее легким путем смещения плохого военачальника. Но на практике такой способ применялся крайне редко, поскольку для аристократии, превыше всего ценившей *dignitas* («достоинство»), было нелегко поддержать подобную акцию против одного из своих членов, если только он не запятнал себя лично каким-либо бесчестящим поступком. Само же поражение как таковое не налагало печать позора; соответственно, оно никогда не служило причиной лишения *victus* почетной должности, которую он занимал в данный момент, и не явля-

лось основанием для отказа в предоставлении ему дальнейших honores. В целом, как подчеркивает автор, римская система ценностей не предполагала решения вопросов престижа и статуса на основе представлений о компетентности, по крайней мере в большинстве случаев (с. 40).

Что же мешало соперничающим за почетные должности аристократам использовать военные неудачи своих коллег для блокирования их политической карьеры? Одним из наиболее простых объяснений, пишет Н. Розенштейн, является прагматизм: ни один из сенаторов не мог стремиться к созданию прецедентов, которые могли бы в дальнейшем нанести ему самому политический ущерб. Однако гораздо большее значение в этом плане имел римский конституционный механизм и прежде всего тимократическая (т.е. цензовая) структура центуриатных комиций, в которых происходили выборы высших военных магистратов и в которых зажиточные граждане всаднических центурий и центурий первого класса оказывали непропорционально большее, если не решающее влияние на исход голосования. В то же время, особенно во II и в I вв. до н.э., основу легионов составляли все в большей степени граждане низших разрядов, которые несли в случае поражения основную тяжесть потерь, но почти никак не могли воздействовать на результаты выборов. Однако подобное объяснение, отмечает автор, не подходит к более раннему периоду, к IV—III вв. до н.э., когда состоятельные слои несли более тяжелое военное бремя как плату за свое электоральное преобладание (с. 50).

Другим возможным объяснением, пишет он, является существование неформальных группировок, основанных на дружеских, брачных и клиентских связях как в среде самой аристократии, так и между последней и массой рядовых граждан. Члены таких группировок в силу необходимости укрепления своего политического влияния должны были обеспечивать друг другу возможность продвижения по лестнице магистратур и защиту от нападков врагов. Используя свой контроль над многочисленными клиентами, могущественные патроны могли содействовать избранию victus или защитить его в суде, сохраняя тем самым сплоченность союза, от которого зависели их собственный авторитет и шансы получить очередную магистратуру (с. 51).

Несмотря на определенную роль рассмотренных факторов, причины политической неуязвимости imperatores victi, по мнению автора, следует искать в более фундаментальных элементах римской культуры, прежде всего в самой идеологии римской войны. Война и религия были неотделимы в Риме. Жертвоприношения, обеты и молитвы накануне и в

ходе каждой войны имели целью вызвать активное сотрудничество богов, а совершение ауспий перед любым важным действием, особенно перед предстоящим сражением, доставляло уверенность в том, что поддержка божественных сил обеспечена. За победами следовали благодарственные жертвоприношения и выполнение обетов. Храмы, построенные за счет военной добычи, служили постоянным физическим выражением центральной роли помощи божества в римских завоеваниях. Напротив, понесенное поражение порождало уверенность в том, что поддержка богов была утрачена, и, очевидно, такое представление играло важную роль в ограничении соперничества. Понимание поражения как прежде всего религиозной проблемы резко снижало его потенциальные возможности в качестве пункта политических обвинений соперника.

Разумеется, отмечает Н.Розенштейн, римляне никогда не игнорировали полностью человеческий фактор, но при отсутствии божественной помощи поражение всегда считалось неизбежным и само рассматривалось как доказательство ее отсутствия. В результате какие бы ошибки, повлиявшие на исход битвы, ни совершал полководец, все они затмевались последствиями провала попыток заручиться сотрудничеством богов. Следовательно, если отношение богов к Республике было действительно решающим фактором, тогда вопросы об ответственности полководца, его компетентности, а также призывы к мести против *victus* становились бессмысленными (с. 55).

Взаимоотношения римлян с богами носили по существу характер взаимного и эквивалентного обмена благодеяниями по формуле *do ut des* («даю, чтобы ты дал»), в результате чего возникало состояние, обозначаемое понятием «*рах deorum*», т.е. согласия между римским государством и его богами. Отличительной чертой римского культа было огромное внимание к скрупулезному выполнению всех элементов и деталей ритуальных актов. Малейшая погрешность в действиях или в произнесении сопровождающих их формул делала недействительным весь обряд. Лишь абсолютная точность со стороны римлян могла побудить богов выполнить свою часть соглашения. Ошибка же приводила к тому, что состояние *рах*'а переставало существовать и поражение становилось неизбежным. Выявление источника нарушения всегда было нелегким делом как в силу огромного числа знатных римлян, участвующих в отправлении культа в качестве магистратов, промагистратов, членов различных жреческих коллегий, так и в силу обилия самих священнодействий. В то же время процедура их осуществления, предполагавшая ассистирование

магистрату со стороны высокопоставленных и авторитетных жрецов, происходивших, как правило, из наиболее выдающихся *gentes* города, практически исключала вопрос о персональной ответственности (за исключением, разумеется, явных случаев игнорирования полководец результатов ауспий) (с. 66).

Таким образом, пишет автор, вера в реальность *рах деорум* не могла не окрашивать проигранные сражения глубоким религиозным смыслом в сознании римлян всех категорий. Это перемещение общественного внимания с действий полководца на поле битвы на состояние взаимоотношений государства со своими богами являлось, с точки зрения Н. Розенштейна, одним из решающих факторов, защищающих *victi* как от нападок соперников-аристократов, так и от гнева рядового гражданства (с. 90).

Другим важным фактором сугубо земного происхождения, но действовавшим в том же направлении, служила, по его мнению, доктрина, согласно которой успех в сражении зависел главным образом от качества солдат, их доблести (*virtus*) и дисциплинированности, а не от военных талантов полководца. Нарушение дисциплины и отсутствие *virtus* у войск являлось распространенным способом объяснения причин поражения, который эффективно ограждал командующего от обвинений в небрежности или некомпетентности (с. 94). Римская военная этика, основанная на представлении о том, что хорошие солдаты удерживают свою позицию при любых обстоятельствах, фактически ставила людей, находящихся в крайней опасности, в такие условия, когда лишь гибель на боевом посту служила доказательством исполнения долга. Воины, обратившиеся в бегство, подвергались порицанию и наказанию скорее, чем вожди, поставившие их в безвыходное положение. Для *patres* в сенате виновность солдат в случае поражения была самоочевидна, и широкая общественность, видимо, разделяла это убеждение (с. 107).

Главными фигурами, ответственными за обеспечение порядка в армии, дисциплины и стойкости солдат в бою, были центурионы и штандартноносцы (*signiferi*). Поэтому на них в первую очередь падало обвинение за развал дисциплины и бегство подразделений. Офицеры более высоких рангов (военные трибуны, префекты, легаты, квесторы) почти никогда не привлекались к ответственности за это. Все они, как правило, происходили из аристократии или даже верхушки нобилитета и обладали обширными связями. Корпоративный характер командования делал политически трудным наказать виновных, не нанеся тем самым ущерба

интересам влиятельных группировок правящей элиты. Рассеивающийся эффект коллективной ответственности имеет здесь, пишет автор, явную параллель с тем, что было сказано выше в отношении поддержания *rae deorum* (с. 110–111).

Анализ источников, рассказывающих о событиях V в. до н.э., т.е. более раннего времени, чем рассматриваемый период, дает некоторые основания утверждать, что в течение этого столетия поражение зачастую имело серьезные политические последствия для полководца, влекло за собой судебные процессы и штрафы. Общественное настроение было враждебно в отношении *victi*. Такое положение, отмечает автор, определено было связано с борьбой сословий, которая создавала почву для большинства политических конфликтов того периода. Плебейские трибуны официально выступали в качестве обвинителей полководцев-аристократов, стремясь использовать общественное недовольство, вызванное поражением, в своей борьбе против патрициев. Однако уже в следующем столетии судебные преследования такого рода отсутствуют, хотя противостояние сословий продолжалось вплоть до конца IV в. до н.э. Очевидно, полагает автор, на рубеже V и IV вв. произошло событие, которое фундаментально изменило подход граждан и их лидеров к оценке причин поражений. Таким событием, с его точки зрения, мог быть только сокрушительный разгром римской армии в битве на р.Алли в 390 г. до н.э. Эта катастрофа впервые получила определение в официальном сенатском постановлении как результат ошибок в религиозных обрядах. Впоследствии такое объяснение выдвигалось регулярно до тех пор, пока не стало традиционным. Важнее, однако, то, что в рассматриваемую эпоху плебейская верхушка уже проложила себе дорогу в сенат и закрепились в высших кругах политической элиты. С этого времени основной акцент при расследовании деятельности полководца был перенесен с оценки его действий в качестве командующего на личное поведение в экстремальной обстановке, на проявление *virtus* (с. 159).

Началом перемен в сложившихся взглядах на проблему ответственности может показаться серия судебных процессов над полководцами II в. до н.э.: Плавтием (146 г.), Помпеем (139 г.), Манцином (136 г.), Постумием Альбином (110 г.), Попилием Ленатом (107 г.) и др. Однако, отмечает автор, названные лица подверглись судебному преследованию не столько за проигранные битвы, сколько за то, что их личное поведение не соответствовало требованиям аристократической этики. Общественное согласие относительно центрального значения *virtus* еще сохранялось в пол-

ной мере. Обличение так называемыми популярями лицемерия и коррупции среди сенаторов не означало, что традиционный источник легитимности аристократического превосходства утратил свою ценность, но что правящая элита им уже не обладала, в то время как общество настаивало на традиционных стандартах поведения своих лидеров. Точно так же оставалась нерушимой старая вера в *рах деогум* как фундаментальную причину победы и поражения (с. 160–161).

Серьезные сдвиги в их религиозном обосновании произошли, как полагает автор, в I в. до н.э., после Союзнической войны. На передний план теперь все более выдвигается представление о личной *fortuna* или *felicitas* победоносного полководца, выделяющей его из круга обычных людей в качестве человека особенно удобного богам. Следствием нового отношения к победе как к результату уникальных взаимоотношений удачливого полководца с богами явилось видение поражения в том же источнике — в их ненависти к тому или иному человеку либо в его прирожденной неудачливости. Все это, однако, не привело к полной замене прежнего комплекса идей новым. Скорее можно говорить об их синтезе. У аристократии как класса, заключает Н. Розенштейн, имелись основания оставаться приверженными вере в решающее значение *рах деогум* для успеха на войне, поскольку эта вера снижала напряженность политического соперничества и тем самым способствовала сохранению коллективной власти нобилитета (с. 163).

*А.Е. Медовичев*

**ПАТТЕРСОН ДЖ.  
ВОЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И  
СОЦИАЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ  
В ПОЗДНЕЙ РИМСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ  
PATTERSON J.**

**Military organization and social change in the later Roman Republic // War and society in the Roman world / Ed. by Rich J., Shipley G. – L.; N.Y., 1993. – P. 92–112.**

В статье Дж.Паттерсона исследуются роль военной службы в армиях поздней Римской республики как инструмента вертикальной социальной мобильности, а также проблема воздействия широкомасштабной («тотальной») войны на социальную структуру общества, которая рассматривается в контексте гражданских войн I в. до н.э. и связанной с ними ветеранской колонизации Италии.

Изучение взаимосвязи войны и социальных изменений в XX столетии, пишет автор, в значительной степени было инспирировано двумя мировыми войнами, повлекшими за собой большие перемены в различных сферах общественной жизни. Результаты исследований социальных последствий «тотальной войны», связанной с участием огромных масс населения, представляют интерес и для историков Древнего Рима. Еще до Первой мировой войны они подчеркивали факт привлечения к военной службе очень большой части римского гражданства в течение III–I вв. до н.э. Историки последующего времени показали, что уровень мобилизации в Риме в ходе Второй Пунической войны и гражданских войн I в. до н.э. был сопоставим с уровнями мобилизации в европейских странах в 1914–1918 гг. Однако в отличие от мировых войн XX в., являвшихся относительно кратковременными в масштабах столе-



тия конфликтами, в Риме III—I вв. до н.э. война была практически частью повседневной жизни; отсутствие военных действий в отдельные годы было скорее аномалией, чем нормой. Тем не менее, отмечает автор, некоторые из этих многочисленных войн имели большее значение, чем другие, в плане социальных и политических последствий для римского общества, приближаясь в некотором смысле к типу «тотальных войн» (с. 93—94).

Специалисты, изучающие проблему взаимосвязи социально-политической структуры общества с его военной организацией, обращают внимание, в частности, на тот факт, что степень социальной стратификации общества обратно пропорциональна степени и масштабам участия его членов в военной деятельности. Так, по мнению С.Андрески<sup>1</sup>, если война в том или ином обществе требует сложного вооружения или особого боевого опыта или по каким-то другим причинам военная служба становится профессиональной, тогда данное общество обнаруживает тенденцию к более глубокой стратификации, чем то, в котором военное дело остается достоянием более широких масс населения.

Однако, с точки зрения Дж.Паттерсона, универсальность этой концепции сомнительна, что, по его мнению, демонстрирует пример Рима эпохи средней республики. Армия этого периода, по существу, представляла собой гражданскую милицию, и данное обстоятельство отражал параллелизм процедур сбора армии и сбора римского народа для электоральных целей. Формально *comitia centuriata*, т.е. собрание граждан по центуриям, представляло собой римский народ, созданный для войны, и именно оно голосовало по вопросам войны и мира, а также выбирало своих командиров. Прямая связь между членством в гражданском коллективе и причастностью к военной службе здесь совершенно ясна. Высокий уровень военного участия являлся нормой в течение III—II вв. до н.э., варьируя от исключительно высокого (26% взрослых мужчин во время войны с Ганнибалом) до самого низкого (не менее 7—9% в 120-х годах до н.э.). Следовательно, типологически армия эпохи средней республики может рассматриваться как подлинно народная армия. Однако *comitia centuriata* были крайне иерархическим по своей структуре институтом, в котором избиратели были разделены на группы («классы»), сильно различающиеся по уровню своего материального достатка. При этом первый класс самых богатых граждан имел неоспоримое элек-

---

<sup>1</sup> Andreski S. Military organization and society. — L., 1968. — XVIII, 238 p.

торальное превосходство над всеми остальными. Таким образом, заключает автор, республиканский Рим вопреки изложенной выше теории С.Андрески соединял высокую степень социальной стратификации с высоким уровнем военного участия (с. 96).

В эпоху ранней империи, пишет Дж.Паттерсон, роль римской армии в качестве одного из главных инструментов вертикальной социальной мобильности не вызывает сомнений. Способный и отважный солдат мог получить ранг центуриона после 15 или 20 лет службы вместе с более чем пятикратным повышением жалования. От трети до половины этих центурионов достигали ранга *primipilares* и, тем самым, становились членами всаднического сословия, второй (после сенаторов) статусной группы имперской элиты. Их дети могли, в свою очередь, подняться и на еще более высокий уровень, заняв место уже в сенате. Впрочем, и рядовые солдаты после выхода в отставку часто располагали солидными денежными средствами, которые они инвестировали в землю. Для провинциалов служба в армии давала возможность получить права римского гражданства. Потенциальные выгоды военной службы при республике гораздо менее очевидны. Солдат вступал в армию для участия в определенной кампании и получал отставку после ее окончания. Если он вновь записывался в войска для очередного похода, полученный им ранее военный ранг необязательно сохранялся за ним в заново формируемой армии. Это создавало большие трудности в построении военной карьеры в республиканский период, и социальное продвижение было скорее случайностью, чем прямым результатом военной деятельности (с. 98–99).

Некоторые возможности для повышения имущественного и социального статуса создавала программа колонизации, интенсивно проводившаяся в III и особенно в первой четверти II в. до н.э. Между 200 и 177 гг. до н.э. на территории Италии было основано 15 римских и 4 латинские колонии, целью создания которых было, главным образом, обеспечить римское присутствие на недавно завоеванных территориях, а также избавиться от части беднейшего населения, переселив его на окраину подконтрольной Риму зоны. При этом размеры участков, предоставляемых в колониях латинского права, были значительно (как правило, на порядок) выше, чем в римских, что рассматривалось как частичная компенсация поселенцам латинских колоний из числа римских граждан утраты политических прав в Риме. Впрочем, даже предоставление небольшого надела в римской колонии и права использовать обществен-

ные пастбища могло быть привлекательным для беднейших крестьян (с. 100–101).

Таким образом, участие в колонизации могло означать определенное повышение благосостояния римских плебеев и до некоторой степени обеспечивало вертикальную социальную мобильность, но в то же время отстраняло их от политической жизни Рима. Латинские колонии формально считались самостоятельными общинами, и их обитатели не считались римскими гражданами. Те же, кто селился в римских колониях, часто оказывались столь далеко от Рима, что лишались возможности на практике пользоваться правами и привилегиями римского гражданина (с. 105–106). Однако последняя латинская колония была основана в 181 г., а между 177 и 128 гг. до н.э. колонии, по-видимому, вообще не выводились, закрыв тем самым даже эту, весьма ограниченную возможность для крестьян улучшить свое социальное положение.

Можно полагать, пишет автор, что неспособность традиционной республиканской системы обеспечить хотя бы минимальный социальный рост для представителей всех слоев общества, стоящих ниже землевладельческой элиты, была одной из главных причин кризиса и падения республики. Колониальные поселения соединяли военную целесообразность и возможность социального продвижения в рамках существующей иерархии римского государства. Прекращение колонизации изъяло этот предохранительный клапан из римской общественной системы как раз в тот критический момент, когда напряженность, порожденная имперской экспансией, достигла уже высокого уровня. К началу I в. до н.э. эффективные механизмы социальной мобильности возникают вновь в форме земельных раздач ветеранам, но они теперь были связаны с долговременной военной службой в армиях, амбициозные командующие которых в конечном счете приводят республику к катастрофе (с. 107–108).

Еще во время Второй Пунической войны солдаты иногда получали небольшие участки земли по увольнении после ряда лет службы за границей. Ветераны, скорее всего, были и в числе колонистов в латинских и римских колониях. Однако в крупных масштабах наделение ветеранов землей было впервые предпринято Гаем Марием в самом начале I в. до н.э., после его побед над нумидийским царем Югуртой, кимврами и тевтонами. Примеру Мария последовал Сулла, расселявший своих ветеранов на конфискованных землях в регионах, население которых поддерживало его политических противников — марианцев. Но наиболее значительные расселения ветеранов были осуществлены Цезарем, триумви-

рами и Августом. Всего, согласно некоторым подсчетам, между 47 и 14 гг. до н.э. более 130 тыс. солдат получили земельные наделы в Италии (с. 103).

В целом, как отмечает автор, гражданские войны I в. до н.э., по-видимому, вызвали тотальное расстройство италийского общества. Так называемая Союзническая война, а затем война между Ма-рием и Суллой велись на территории самой Италии и сопровождались опустошением целых регионов, затронутых боевыми действиями. Людские потери также были огромны, особенно среди италиков. Например, только в битве при Филиппах их погибло более 40 тыс. человек. Большое количество италийских землевладельцев лишились своих земель и подверглись репрессиям со стороны триумвиров. Многие были убиты или вынуждены эмигрировать в провинции. В наибольшем выигрыше оказались солдаты армий, сражавшихся в гражданских войнах, получившие значительные денежные подарки и участки на освободившихся в результате репрессий или выкупленных у прежних собственников землях.

Обычный ветеранский надел, по-видимому, составлял 50 iugera (1 югер соответствует 0,25 га. — Реф.), а у центуриона — в два раза больше. Поместье в 100 iugera эквивалентно по размеру тому, которое Катон описывает как идеальное в своем трактате «De agricultura». Оно делало своего владельца сравнительно состоятельным человеком. В добавок к этому центурион, как правило, имел значительные денежные суммы, полученные в виде подарков от полководца и от продажи военной добычи, что позволяло ему скупать также и близлежащие участки, как коллег-ветеранов, так и местных жителей той общины, на земле которой ветеранская колония была основана. Таким образом, центурионы, не говоря уже о военных трибунах, становились достаточно богаты, чтобы войти в круг муниципальной аристократии и продолжить карьеру в качестве магистратов и членов местных советов (с. 103–104).

Во время гражданских войн, как и в следующий период принципата, центурионат играл важную роль в качестве инструмента вертикальной социальной мобильности. Это, пишет Дж.Паттерсон, было следствием постепенной профессионализации армии. Весьма вероятно также, что отношения между командующим и центурионами стали более тесными, поскольку назначение последних, ранее являвшееся прерогативой военных трибунов, было заменено теперь прямым назначением самим полководцем. Тем самым центурионы, имевшие главное влияние на моральное состояние и дисциплину легионов, оказались более тесно свя-

занными с командующим лично. Между ними, таким образом, устанавливались отношения типа патроната — клиентелы, превосхищавшие отношения «офицеров» и императора в эпоху принципата, которые, собственно, и являлись механизмом продвижения вверх по социальной лестнице. В целом, отмечает автор, карьерные перспективы центурионов и рядовых солдат, как и их материальное положение, в I в. до н.э. значительно улучшились (с. 104).

Последствия гражданских войн и ветеранской колонизации, пишет автор в заключение, несомненно, вызвали широкомасштабные социальные перемены в Италии. Возможно, наиболее драматическое воздействие имела программа ветеранской колонизации. Основание на полуострове не менее 50 колоний, практиковавшиеся в них схемы распределения земли трансформировали аграрный ландшафт большей части страны, заключив широкие пространства сельской местности в правильные квадраты и прямоугольники центурий в качестве вечного памятника гражданским войнам и их участникам — солдатам и «офицерам» римской армии. Эти солдаты рекрутировались по всей Италии, и их перемещение, часто после многих лет службы, в совершенно другие районы полуострова имело значительный культурный импульс в плане унификации локальных особенностей. Колонизация изменила местные аграрные структуры, поскольку многие крупные поместья были разделены на относительно небольшие «фермы» ветеранов. Часть из них была создана в результате сгона крестьян с их маленьких участков. В значительной степени изменился также и состав местной знати, ряды которой пополнили богатые центурионы и *primipilares*. В целом, заключает Дж. Паттерсон, развитие событий в Италии в I в. до н.э. подтверждает высказывавшийся в литературе тезис о том, что крупномасштабный военный конфликт, предполагающий участие значительных масс населения, почти всегда ведет и к наиболее значительным социальным переменам (с. 108–109).

*А.Е.Медовичев*

**КОРНЕЛЛ Т.  
КОНЕЦ РИМСКОЙ ИМПЕРСКОЙ ЭКСПАНСИИ  
CORNELL T.**

**The end of Roman imperial expansion // War and society in the Roman world /Ed. by Rich J., Shipley G. — L.; N.Y., 1993. — P. 139–170.**

В статье Тима Корнелла рассматриваются причины и последствия трансформации военной политики Рима в период принципата и реальное содержание понятия *Pax Romana* («Римский мир»), ставшего своего рода лозунгом императорской эпохи.

Принято считать, пишет автор, что главная перемена в римской военной политике произошла в конце правления Октавиана Августа, который, как предполагается, принял решение о прекращении дальнейшей экспансии империи впервые после ряда столетий успешных войн. Во всяком случае, как сообщает Тацит, он советовал своему преемнику сохранять римскую державу в существующих границах. Этому совету наследники Августа в целом следовали в течение двух столетий периода «Римского мира», и за исключением изолированных эпизодов в виде присоединения Британии, Дакии и (на короткое время) Месопотамии границы Римской империи оставались в основном теми же, что и в момент смерти Августа в 14 г.н.э.

Традиционное объяснение этого явления состоит в том, что при Августе римляне наконец обрели безопасные границы, к которым они всегда стремились, и поскольку естественные рубежи по Рейну, Дунаю и Евфрату были достигнуты, необходимость в дальнейшей экспансии отпала. Нетрудно заметить, пишет Т.Корнелл, что в основе этого объяснения лежит теперь уже крайне устаревшая концепция «оборонительного

империализма», созданная применительно к Римской республике и рассматривавшая ее экспансию как побочный результат войн, предпринятых в ответ на внешние угрозы. Разумеется, отмечает он, миф о миролюбивом римском народе, который против его воли втягивали в войны агрессивные соседи и который для собственной безопасности вынужден был, покорив их, взвалить на себя бремя империи, выглядит смехотворно в наше время, но по очевидным причинам он имел широкое распространение в колониальную эпоху. В современных исследованиях подчеркиваются воинственность римлян и неразрывная связь их общества с войной, которое получало ощутимые выгоды от роста империи. Римляне, естественно, верили, что их войны справедливы, хотя и не обязательно оборонительны. Они также полагали, что их «мировое» господство предопределено богами. Они были империалистами и гордились этим. Удивительно только то, замечает автор, что этот трюизм науке пришлось открывать заново (с. 139–141).

Современные историки подвергают также сомнению и представление об Августе как о предусмотрительном и миролюбивом государственном деятеле, единственной целью которого было защитить империю. Это представление, созданное стараниями античных писателей более поздней эпохи (Светоний, Кассий Дион), вступает в противоречие с реальными фактами. Август был величайшим завоевателем в римской истории, расширившим как никто другой пределы империи. Свидетельства синхронных источников, например *Res Gestae divi Augusti* («Деяния божественного Августа»), ясно показывают, что он очень гордился своими завоеваниями. Их воспевали и поэты августовской эпохи, чьи империалистические чувства отражали идеалы не только того режима, которому они служили, но и общества в целом (с. 142).

Исследования последних десятилетий убедительно опровергли тезис о том, что завоевания Августа были предприняты с целью обеспечить безопасность границ. Имеющиеся данные, пишет Т. Корнелл, кажется, позволяют говорить о гораздо более грандиозном проекте: о последовательной программе имперской экспансии и, возможно, даже о видах на мировое господство. Но тогда крутая перемена во внешней политике, которая произошла около 14 г.н.э., действительно является экстраординарным событием. Окончание процесса перманентной войны и экспансии и начало *Pax Romana*, очевидно, составляет примечательную трансформацию и естественно требует какого-то объяснения. Однако существующие предварительные версии, с точки зрения автора, нельзя признать

удовлетворительными. Причина такой ситуации в науке, по его мнению, состоит в том, что в условиях господства теории оборонительного империализма окончание завоевательных войн не выглядело какой-то проблемой: экспансия прекратилась, поскольку Римская империя при Августе достигла максимально возможного расширения в пределах естественных границ.

Необходимо все же отметить, пишет Т.Корнелл, что идея об оптимальном размере империи, достигнутом при Августе в качестве логического завершения столетий упорной борьбы, является не более чем продуктом ретроспективного взгляда в прошлое. В исследованиях уже высказывалась мысль о том, что Рейн, Дунай и Евфрат не формируют естественных стратегических границ, что реки вообще не являются ни эффективными линиями обороны, ни историческими, функционально значимыми рубежами между этническими, лингвистическими или национальными группами. Рейнско-дунайская линия первоначально была выбрана как временная граница по соображениям административной целесообразности, но в эпоху Августа, вероятно, не исчезали ожидания, что в скором времени новые завоевания за Рейном и Дунаем будут осуществлены.

Потенциальная стратегическая уязвимость рейнско-дунайской границы, которая неизбежно обнаружилась во время варварских вторжений III в.н.э., лишний раз подтверждает тот факт, что имперская политика в принципе не была предназначена защищать римские рубежи от нападений. Оборонительная политика, отмечает автор, предполагает наличие какой-то угрозы извне; но вряд ли Римская империя сталкивалась со сколько-нибудь серьезной внешней угрозой в эпоху раннего принципата. За отсутствием каких-либо других подходящих кандидатов на роль «империи зла» у римских границ, ряд ученых указывают на Парфию, могущество которой, как они думают, представляло «систематическую» угрозу Риму. При этом ссылаются на заявление царя Артабана III в 35 г. н.э., который предъявил претензии на все прежние владения Ахеменидов (Тас. Анн. 6.31). Однако в конечном итоге парфяне не сделали ни одной попытки реализовать это заявление. Большую часть периода принципата внутренняя слабость Парфянского царства не позволяла ему предпринять что-либо серьезное против римских владений. Как следует из источников, все споры между двумя державами всегда касались контроля над территорией к востоку от Евфрата, и военные конфликты почти всегда происходили по инициативе римлян. Вторжения парфян в рим-



скую провинцию Сирию были лишь тактическими ответами на римскую агрессию (как правило, в Армению или в Месопотамию). Нет свидетельств, что они когда-либо пытались или надеялись завладеть Сирией или какой-нибудь другой римской территорией. Таким образом, в политическом и стратегическом смысле у Рима не было «парфянской проблемы»; скорее наоборот, Рим представлял проблему для Парфии (с. 144–145).

В целом, как считает автор, теория выхода империи на естественные, пригодные для стратегической обороны рубежи как причина завершения экспансии, вряд ли может быть принята, поскольку римская стратегия не была ориентирована на оборону. Мало подходит, с его точки зрения, и объяснение, согласно которому, дальнейшее продвижение римлян сделалось невозможным в силу того, что к 14 г. н.э. за пределами римских границ остались малодоступные в ландшафтном отношении зоны: пустыни на юге и востоке, непроходимые леса и болота на севере, за Рейном и Дунаем. По мнению сторонников этой концепции, римляне могли проникать в указанные регионы, но не могли их контролировать в силу отсутствия прочной оседлости населения, его низкой плотности и способности вести длительную партизанскую войну благодаря подходящим природным условиям. Однако далеко не очевидно, пишет Т.Корнелл, что ландшафт Германии или Ирана был более недоступен для римских легионов, чем, скажем, ландшафт Испании, Галлии или Иллирика. Точно так же и низкая плотность и воинственность населения, отсутствие базирующейся на городах экономики и социальной структуры не помешали римлянам установить в 43 г.н.э. в Нижней Британии эффективный контроль в течение нескольких месяцев, если не недель. Что касается Ирана, то в равной степени трудно понять, почему римляне неизбежно должны были потерпеть провал там, где македоняне во главе с Александром легко добились успеха (с. 146).

Другое возможное объяснение состоит в том, что римляне в период принципата избегали дальнейшей экспансии не в силу трудностей ее осуществления, а просто потому, что возможные приобретения не стоили затрат сил и средств. Это мнение находит подтверждение в источниках (Страбон, Аппиан), но там оно выглядит скорее как риторическое чванство, чем как изложение продуманной государственной политики. Проведение военных кампаний вряд ли было дорогостоящим делом, полагает автор. Тот факт, что римские императоры содержали большую постоянную армию, означает, по его мнению, что расходы на нее в воен-

ное время не могли существенно превышать траты мирного времени. Они, разумеется, несколько увеличивались за счет повышения транспортных расходов, расходов на вооружение, материалы, дорожное строительство и т.д. Но, как показали расчеты, перебазирование, например, целого легиона с одного конца империи на другой увеличило бы ежегодный военный бюджет государства не более чем на 0,5%. Трудно представить, пишет Т.Корнелл, что концентрация крупных военных сил, возможная при Августе, вдруг сделалась бы невозможной при Тиберии. Абсурдно также полагать, что народы, обитавшие за Рейном и Дунаем, были слишком бедны, чтобы обеспечить значительный объем добычи, и слишком отличались в этом плане от Испании II в. до н.э. или Галлии времен Юлия Цезаря. Во всяком случае, добыча, захваченная в 106–107 гг.н.э. в Дакии, по оценкам современников, была настолько велика, что вполне опровергает изложенный выше тезис. Следовательно, заключает автор, римская военная политика в эпоху принципата не определялась сколько-нибудь существенно финансовыми ограничениями (с. 148–149).

Помимо завоеваний Британии при Клавдии и Дакии при Траяне, которые уже приводились в качестве примеров способности римского государства вести крупные войны в эпоху принципата, пишет Т.Корнелл, не следует упускать из виду менее значительные столкновения, постоянно происходившие в ряде пограничных зон, а также внутренние войны, вызванные восстаниями и мятежами. Таким образом, было бы преувеличением отождествлять эпоху ранней империи с периодом мира. *Rex Romani*, провозглашенный Августом, означал лишь окончание гражданской войны и восстановление порядка в Италии и внутренних провинциях (с. 150–151).

Большинство историков настаивают на том, что вопрос в основном касается меры военной активности Рима. Действительно, отмечает автор, впечатление, которое возникает при сопоставлении повествований Ливия и Тацита, на первый взгляд не оставляет сомнений в заметном сокращении объема боевых действий в I в. н.э. по сравнению с республиканским периодом. Следует, однако, иметь в виду, что любимыми темами Тацита были дворцовые интриги и разлагающее влияние деспотизма, а не военные события. Даже его мастерские описания восстания Боудики в Британии, походов Агриколы в Шотландию, гражданской войны 69 г.н.э. обнаруживают повышенный интерес писателя скорее к политическим и моральным аспектам, чем к собственно военным подробностям. Именно эта особенность сочинений Тацита и создает, по мнению автора,

иллюзию более мирного, чем в действительности, периода. Между тем суммирование всех известных из самых разных источников фактов не оставляет сомнений в том, что эпоха принципата имела свою богатую событиями военную историю и что военные действия отнюдь не прекратились вместе с окончанием правления Августа. Однако небольшие пограничные войны и подавление внутренних восстаний, несмотря на грандиозный размах некоторых из них, были не слишком престижны для римских полководцев и вызывали небольшой интерес у античных писателей и их читателей-современников. Более того, и официальная пропаганда не старалась акцентировать внимание на тех кампаниях, в которых императоры лично не принимали участия (с. 153).

Таким образом, отмечает автор, именно специфика военной деятельности в эпоху империи, а не степень ее интенсивности, а также характер имеющихся источников, создали впечатление резкого контраста с республиканским периодом и временем Августа. Согласно наиболее распространенной точке зрения, эпоха Римской республики характеризуется состоянием непрерывной войны и имперской экспансии. Ошибка, по мнению Т. Корнелла, состоит в предполагаемой неизменности модели войны и империализма на протяжении более трех столетий. Классическая модель римской войны, пишет он, складывается около середины IV в. до н.э. В течение последующих примерно 150 лет практически каждый год оба консула проводят военный набор и вторгаются на территории соседних государств или племен. Эта постоянная война требовала привлечения значительной части граждан к регулярной военной службе, которая стала непременным атрибутом и функцией их гражданства. От 10 до 15% взрослых мужчин гражданского статуса в период средней республики ежегодно находились под оружием. Учитывая ротацию призывников, можно полагать, пишет автор, что война была частью нормального жизненного опыта каждого римлянина. Она была глубоко вмонтирована в римскую общественную систему. Республиканские институты были военными по характеру и функциям; религия республики, ее культурные и нравственные ценности были пропитаны милитаристским духом. По своей сути Римская республика была сообществом воинов (с. 155–156).

Однако феномен перманентной войны, который был доминирующей чертой римской жизни в IV и III вв. до н.э., в первой половине II в. до н.э. уже начинает исчезать. Период войн за пределами Италии и экспансии в различные регионы Средиземноморья является новой стадией в

развитии римского империализма, которая сопро-вождалась важными структурными переменами в римском военном строительстве. Во-первых, пишет автор, война утрачивает прежний сезонный биологический ритм. Она перестает быть непрерывной, и периоды напряженной военной активности чередуются теперь с более или менее продолжительными периодами относительного затишья в боевых действиях. Постепенно промежутки сравнительно мирного времени становятся все более частыми и долгими, а крупные военные кампании — все более редкими. Во-вторых, меняется и характер самой армии; из гражданской милиции, ополчения мелких землевладельцев, она все больше превращается в армию, рекрутируемую из среды сельского пролетариата. В целом, отмечает автор, модель войны и экспансии в эпоху поздней республики становится гораздо ближе к той, которая существует в период ранней империи, чем к модели регулярных сезонных кампаний IV—III вв. до н.э. Со II в. до н.э. Рим сохраняет постоянное военное присутствие в ряде провинций (Ближняя и Дальняя Испании, Цизальпинская Галлия), а расположенные в них войска выполняют, по существу, те же функции, что и императорские армии в рейнских и дунайских провинциях в I в.н.э. Таким образом, пишет Т.Корнелл, можно говорить о континуитете модели военной деятельности в рамках позднереспубликанского и раннеимператорского периодов. Соответственно, и Рах Романа в эпоху принципата не был радикальным отказом от прежней политики и модели поведения (с. 160).

Эта преемственность, однако, ускользнула от внимания как древних, так и современных историков, в глазах которых сам факт прекращения внутренних распрей и кровопролитных гражданских войн явился четкой разграничительной линией между двумя эпохами. Но окончание длительного внутреннего социально-политического кризиса отнюдь не означало радикальной перемены во внешней политике. Возобновление при Августе активной имперской экспансии, как отмечает автор, было лишь временным разрывом с отмеченной выше тенденцией. И этот всплеск римской агрессии на стадии формирования режима принципата имел свои вполне конкретные причины.

Во-первых, политика Августа демонстративно была направлена на возрождение «нравов предков», всегда пользовавшихся большой популярностью в римском обществе. Среди них *virtus* занимала центральное место и ассоциировалась прежде всего с военной доблестью. Соответственно, *respublica restituta* («восстановленная республика») должна

была возратить себе роль покорителя внешних врагов. В этом, вероятно, виделось средство залечить моральные раны гражданских войн и объединить разделенное ими общество единой целью. Взгляды подобного рода хорошо прослеживаются в литературе того времени. Август, следовательно, должен был возродить республиканскую традицию непрерывной войны и завоеваний, даже если эта традиция, как было показано, давно отошла в прошлое.

Во-вторых, создание Августом постоянной регулярной армии с четко фиксированным сроком службы, гарантированным жалованием и премиями по отставке завершило процесс трансформации гражданской милиции в профессиональные вооруженные силы. Однако содержание огромной постоянной армии требовало больших расходов, для покрытия которых были введены новые налоги, что не могло прибавить Августу популярности. Поэтому император должен был чувствовать необходимость оправдать эти расходы. Таким образом, полагает автор, предпринятые им завоевания, несомненно, отчасти были инспирированы необходимостью сделать идею профессиональной армии приемлемой в глазах общества, которое оплачивало ее содержание.

Наконец, в-третьих, Август нуждался в военных победах для легитимизации своего положения в качестве наследника Цезаря и укрепления позиций своих предполагаемых преемников. Главные военные кампании проводятся теперь лично императором или членами его фамилии с тем, чтобы закрепить персональную связь с армией, завоевать популярность среди солдат. В то же время военная деятельность других аристократов, командующих сенаторского ранга, которая могла бы повысить их престиж в войсках, жестко контролировалась и лимитировалась. К концу правления Августа система принципата и династический принцип наследования власти утвердились достаточно прочно. Политика экспансии выполнила свою задачу, и катастрофа в Тевтобургском лесу в 9 г.н.э., когда германцами была полностью уничтожена большая группировка римских войск, ясно указала на необходимость приостановить агрессию (с. 161–163).

Однако решающую роль в возобновлении политики *Pax Romana*, по мнению Т.Корнелла, сыграли, разумеется, глубокие структурные изменения в римском обществе. Среди них наиболее важное значение, с его точки зрения, имело возникновение полностью профессиональной армии. Произошел, таким образом, окончательный разрыв с традиционным республиканским идеалом «интегрированного общества», в котором

каждый гражданин был одновременно и земледельцем, и воином, отцом семьи (*pater familias*). Легионер эпохи империи, напротив, был всецело профессиональным солдатом, которому в течение всего срока службы, продолжавшейся

20–25 лет, было запрещено заниматься земледелием, вступать в законный брак и иметь законных детей. В наиболее общей форме структурная перестройка означала переход к «дифференцированному обществу», в котором такие функции, как управление, война, религия и т.п., становятся сферами деятельности специализированных групп людей, а не всех членов гражданского коллектива, как это было в классической Римской республике (с. 164).

В эпоху империи процесс структурной дифференциации был ускорен в результате быстрого распространения прав римского гражданства среди населения провинций. Для армии это имело парадоксальный эффект расширения базы ее рекрутирования и вместе с тем увеличения разрыва, отделявшего ее от гражданского общества. Даже чисто физически армия оказывается отделена от остального общества, располагаясь на отдаленных рубежах империи, которые становятся особыми военными зонами со своими специфическими особенностями. При этом Италия и внутренние, наиболее романизованные провинции постепенно становятся демилитаризованными зонами. Соответственно, исчезают и военные традиции римского народа. Воинственный дух проявляется теперь только в искаженных (или, скорее, извращенных), искусственных формах, поскольку народ довольствуется лишь реконструкциями сражений в литературных произведениях писателей и поэтов, а также в кровавых спектаклях на аренах амфитеатров (с. 165).

Перемены, пишет Т. Корнелл, повлияли на все слои общества, но особенно заметно на высшие классы. Во времена средней республики только десятилетняя служба (точнее, участие в десяти сезонных кампаниях) давала право всадникам претендовать на военные и политические должности. Военные заслуги были необходимым условием политического успеха, который в конечном счете зависел от благосклонности избирателей в народном собрании, состоявшем главным образом из людей, близко знакомых с войной и военной службой, сама жизнь которых зависела от военной компетентности тех, кого они выбирали командирами. В эпоху принципата, напротив, большинство сенаторов и *equites* («всадников») имели очень небольшой военный опыт или не имели его вовсе, черпая знания в этой области из исторических книг и греческих военных трактатов. Но и из тех, кто его имел, очень немногие когда-либо принимали

участие в настоящем бою. Политическое продвижение зависело теперь от патроната императора, для которого военные заслуги представителей элиты были не только необязательны, но часто даже не выглядели преимуществом. Как отмечал Тацит, высокая военная репутация могла быть опасна для ее обладателя.

В течение I в. н.э. деление в среде высших классов на военных и гражданских лиц приобрело устойчивый характер. Во времена Плиния Младшего сенаторы, которые имели военный опыт и командовали армиями, были известны как *virī militares* в отличие от большинства тех, кто делал исключительно гражданскую (т.е. гражданскую, невоенную) карьеру. Такое разграничение было бы немыслимо в период средней республики, и оно не стало заметной чертой римской общественной жизни вплоть до рубежа II—I вв. до н.э., когда появляются самые ранние примеры военных специалистов, типа Гая Мария, Флавия Фимбрии, несколько позднее — Авла Габиния, Гая Меммия или Луция Волкация Тулла. Тогда же становятся заметны и первые признаки того, что военная служба более не является необходимым условием политической карьеры.

Все эти факты, подчеркивает Т. Корнелл, имеют прямое отношение к проблеме *Pax Romana*. Как уже отмечалось, пишет он, Римская империя эпохи принципата отнюдь не была избавлена от войн, но это обстоятельство в основном игнорировалось источниками, авторы которых получали удовольствие от мысли о том, что они живут в мирную эпоху. Объяснение этого парадоксального явления исследователь видит прежде всего в том, что образованные классы империи не имели ни военного опыта, ни реального представления о положении в пограничных провинциях. Для большинства римских аристократов война стала только литературным сюжетом или предметом риторических упражнений. Глубокая пропасть отделяла этих людей от мира пограничных провинций и жизни в нем солдат и местного населения. Даже замечательное описание Тацитом мятежа германских и паннонских легионов в 14 г. н.э. представляет собой по большей части умелый набор риторических эффектов. Он абсолютно не понимает проблем, с которыми столкнулись солдаты, и не испытывает симпатий к их требованиям, представляя все дело как типичный пример недисциплинированности и наглости низшего класса. Сходные чувства лежат в основе его высказываний о «безумной солдатне» при описании гражданской войны 68—69 гг. н.э. В целом, заключает автор, римские высшие классы боялись армии. Для них жизнь военного лагеря была чуждым и враждебным миром, на который они смотрели со

страхом и ненавистью. При таких условиях вряд ли можно ожидать от античных писателей какого-то особого внимания к событиям на границах империи (за исключением наиболее крупных военных кампаний с участием самих императоров), которые не имели никакого влияния на их праздное существование и происходили в местах, о которых они имели очень слабое представление (если вообще его имели). Здесь контраст с республиканской эпохой особенно заметен. Тогда войны были политическим событием огромной важности, и высшие классы принимали в них непосредственное участие. Сенаторы и «всадники» несли военную службу в провинциях, о положении в которых они, естественно, были предельно информированы и часто имели важные личные интересы, чтобы их защищать. При ранней империи внешние войны случались не менее часто, чем в поздний период республики. Изменилось, однако, их воздействие на римское общество и особенно на сознание высшего класса (с. 167).

В каком-то смысле, пишет автор, можно полагать, что «Римский мир» был иллюзией, возникшей в зашоренном восприятии образованных и состоятельных обитателей Италии и внутренних провинций. Но в то же время в другом смысле он был объективной реальностью. Во всяком случае, описанная выше ситуация соответствует данному понятию. В процессе трансформации последних двух столетий до н.э. империя стала тем миром, в котором войны в течение длительного времени уже не затрагивали напрямую подавляющее большинство населения, что позволяло историкам их игнорировать. Солдаты образовывали маргинальную группу, располагавшуюся на периферии этого мира и занимавшуюся деятельностью, которая не имела отношения к повседневной жизни гражданских лиц. «Римский мир, — пишет Т. Корнелл, — был великим достижением, даже если он и не являлся продуктом осознанной политики; но мы не должны позволять благодушной риторике источников, таких как Флор, Аппиан или Элий Аристид, замаскировать тот факт, что в отдаленных и забытых районах империи мужчины и женщины, “римляне” и “варвары”, равным образом, платили за него высокую цену» (с. 168).

*А.Е. Медовичев*



**ВУЛФ Г.  
РИМСКИЙ МИР  
WOOLF G.**

**Roman peace // War and society in the Roman world / Ed. by  
Rich J., Shipley G. — L.; N.Y., 1993. — P. 171–194.**

Работа Грегa Вулфа посвящена анализу феномена *Pax Romana* как центрального элемента имперской идеологии эпохи принципата и как специфической формы римского империализма в данный период. «Римский мир», пишет исследователь, представляет собой проблему уже по той простой причине, что война была важнейшим структурным компонентом древнего общества, во многом определявшим его экономику и, следовательно, условия его репродукции. Разумеется, Римская империя может рассматриваться как исключение: практически всеобщее убеждение состоит в том, что ее беспрецедентные размеры и некоторые почти уникальные институты, такие как профессиональная армия, создавали условия для мира, не имеющие параллелей ни в предшествующей, ни в последующей истории. В данной статье автор отстаивает взгляд на *Pax Romana* как на побочный продукт империи. При этом, с его точки зрения, внутри и вне империи «Римский мир» может выглядеть как простой компонент в широком наборе моделей насилия, сопутствующий другим структурам господства (с. 171).

Отправной точкой анализа раннеимперского употребления понятия «мир», по мнению автора, должно служить разграничение состояния войны и мира при республике, где оппозиция между *pax* и *bellum* была оппозицией двух моральных и религиозных сфер — *domi* («домашней») и *militae* («военной»). Зримым воплощением границы между ними был  *pomerium* — священная граница города Рима. За ней располагалось

Марсово поле, на котором проводила тренировки армия Римской республики. Созванные на народное собрание римские граждане выстраивались здесь в своего рода боевой порядок, по центуриям, т.е. «сотням», как *comitia centuriata* (центуриатные комиции). Власть республиканских магистратов над гражданами *domi* была строго ограничена, но когда *cives domi* становились *milites militiae*, полководец получал право жизни и смерти над каждым из них. Эта дихотомия *domi* и *militae* не является точным эквивалентом современного разграничения между войной и миром, но обе эти сферы последовательно и неизменно противопоставлялись друг другу. Смены войны и мира с повторяющимися трансформациями граждан в солдат и обратно в граждан отмечали ход времени подобно сезонным циклам, которым изначально эти трансформации были подчинены, тогда как последовательность триумфов полководцев, имена магистратов в *Fasti*, акты расширения *pomerium* и *ager Romanus* формировали осознание истории и прогресса (с. 173–175).

Однако идеи «войны» и «мира» менялись вместе с изменением условий. И республиканская система связанных с ними представлений, выраженных в определенных ритуалах и символах, в ряде отношений отличается от той системы, которая пришла ей на смену в эпоху империи. В этом плане *Pax Romana* есть специфически имперское понятие, которое не может быть понято вне контекста империи, отмечает Г.Вулф.

Изначально *pax*, пишет он, означал соглашение, включающее договор об окончании или предотвращении войны между государствами, но вместе с тем и состояние порядка и безопасности внутри государства, как это следует из сочинений античных писателей эпохи Цицерона. В качестве политического лозунга *pax* со времени Суллы и в дальнейшем часто ассоциировался с *concordia* («согласием») и всегда в контексте осуждения гражданской войны. Вероятно также его связь с идеалом *pax deorum*, гармоничных взаимоотношений между римским народом и богами-покровителями римского государства. Со времени Цезаря берет начало и культ «Мира», наибольшее развитие получивший при Августе и его преемниках. *Pax* проходит как символ в течение всей поздней фазы правления Августа, опять же во взаимосвязи с другими проявлениями гражданской гармонии, такими как *concordia* и *salus publica* («общественное благо»). Наиболее ярким выражением культа «Мира» стал Альтарь Мира Августа. Большинство императоров I в.н.э. также поддерживали этот культ, самым грандиозным монументальным воплощением которого явились храм и форум Мира, построенные Веспасианом в Риме

после первой гражданской войны периода империи. Эти монументы должны были восприниматься не столько как пропаганда, сколько как диалог с обществом, отвечающий общественным настроениям в такой же мере, в какой и формирующий их. Август особенно много экспериментировал с различными образами и символами, прежде чем нашел те, которые позволили ему и его подданным установить общий набор идеологических понятий, посредством которого новый порядок мог описываться и обсуждаться, а добродетели и идеалы приобрели канонический характер, став общими для управляющих и управляемых. Это обстоятельство, пишет автор, особенно важно, поскольку означает, что новая центральная роль «мира» в идеологии империи была следствием не просто императорского указа или прихоти, но была обретаена им благодаря огромному потенциалу развития в качестве символа эпохи (с. 177).

В качестве центрального элемента новой имперской идеологии понятие «мир» заключало в себе двоякий смысл: во-первых, мир дома (т.е. внутри государства), зависящий от согласия как между сословиями, так и среди правящей элиты; во-вторых, мир внешний, в смысле неравноправного соглашения между Римом и теми, кого он «умиротворил». Причем это неравноправие было определяющей чертой, и в этом отношении рах с самого начала был символом римского империализма.

Параллельно с категориями «солидарности» и «безопасности» в контексте внутренних, «домашних», отношений «мир» в имперский период приобретает значения, связанные с новой ролью Рима как носителя *humanitas*, «гуманности», комплекса ценностей и обычаев, рожденных Грецией, но предопределенных судьбой к процветанию под благодетельным правлением Рима. Уже в сочинении Страбона, пишет автор, можно найти оправдание империи ее цивилизующей ролью, а также саму концепцию цивилизации, в основе которой лежит противопоставление миролюбия цивилизованных людей и воинственности варваров, отличающихся от римлян именно своей *feritas* («свирепостью») и отсутствием *humanitas*. Гуманизирующий эффект инкорпорации в империю предполагал умиротворение, включающее переселение варваров из горных и лесных деревень в города, обучение их латинскому языку и смену варварских одежд на римские тоги.

В сочинениях римских писателей I в.н.э. идея о том, что экспансия империи оправдана распространением *humanitas* и установлением рах, получает всеобщее признание. Истоки этого представления, как и почти всей имперской идеологии, можно найти в текстах позднереспуб-

ликанской эпохи, но *раx*, как и *imperium*, приобретает в I в.н.э. новые нюансы. Олицетворяя единство римского народа, выступающего в роли носителя *humanitas*, *раx* теперь начинает ассоциироваться с *imperium*, и оба термина выступают фактически в роли синонимов. Это отождествление *раx* и *imperium* не прослеживается в текстах республиканского времени. Оно, таким образом, становится присуще идеологии только имперского периода, когда «мир» и «война» получают новый, пространственный, оттенок в плане противопоставления мира цивилизованных, замиренных провинций и дикого мира воинственных варваров. Между этими двумя мирами стояла римская армия, которая защищала границу, игравшую теперь роль и своего рода морального барьера (с. 178).

Таким образом, пишет Г.Вулф, в качестве идеологической конструкции *Rex Romana*, «Римский мир», предстает как соединение двух элементов: мира в провинциях и безопасности на границе. И этот образ ранней империи, мирной, процветающей и обеспеченной надежной обороной, созданной императорами по краю *oikumene*, стал почти общепринятым для периода от принципата Августа до кризиса III в. как в сочинениях некоторых античных писателей (Элий Аристид, Аппиан), так и в трудах многих современных историков. Но насколько эта конструкция соответствует реалиям имперской эпохи?

Прежде всего, автор обращает внимание на тот факт, что римляне рассматривали окружающий мир не как комплекс суверенных территорий, а скорее как совокупность народов, связанных не столько общими границами и международным правом, сколько отношениями с Римом. С самого раннего периода римской экспансии эти отношения крайне редко выражались в терминах паритета, а двусмысленность римского понятия «*amicitia*» («дружба») позволяла в сфере политики даже отношения с могущественной державой парфян представлять как отношения зависимости от Рима. Хотя присоединение новых территорий после принципата Августа стало относительно редким явлением, уровень военной активности оставался очень высоким. Границы Римской империи, по существу, были системой коммуникаций для развертывания войск и никогда не служили только оборонительным целям. Однако подобно многим войнам республиканской эпохи, которые не сопровождались аннексией, военные кампании имперского периода часто заканчивались лишь завоеванием престижа, опустошением территории противника и захватом добычи. При республике начиная со II в. до н.э. римляне часто предпочитали контролировать побежденные народы посредством зависимых правителей, и

эта практика создания «клиентских царств» продолжала широко применяться также и в императорскую эпоху (с. 182).

Различия между республиканским и императорским периодами обнаруживаются главным образом при сопоставлении некоторых аспектов идеологии римской войны. Военная слава, материальные ценности и распространение власти Рима всегда считались наиболее желанными ее результатами. Однако, пишет автор, проблема важности территориального расширения перешла из разряда не обсуждаемых (в силу своей бесспорности) при республике в категорию дискутируемых при империи. Сомнения по поводу целесообразности аннексий или, по крайней мере, той или иной конкретной аннексии возникали и в эпоху республики. Однако новой чертой имперского периода стали официальные заявления о том, что экспансия завершена и что Рим уже распространил свою власть на все территории, которые представляют хоть какую-то ценность. Свидетельства о появлении таких взглядов восходят уже ко времени правления Августа, но тогда еще преобладали идеи иного рода. В частности, в произведениях поэтов периода его принципата можно даже найти идею завоевания мирового господства. И это, как отмечает Г.Вулф, вряд ли можно считать шизофренической мечтой, поскольку образованная элита империи в соответствии с уровнем географических знаний того времени представляла себе мир гораздо меньшим по размерам, чем он был на самом деле (с. 184).

Вопрос о целесообразности новых завоеваний так и не был решен в течение четырех столетий существования империи, и по нему в сочинениях разных римских писателей и историков можно найти прямо противоположные суждения. Так или иначе, римская экспансия в эпоху империи замедлилась, а затем остановилась. Немногие императоры пытались следовать примеру Траяна или Септимия Севера, и еще меньшее их число добивались какого-то успеха. Причины завершения экспансии не вполне ясны, и чтобы их понять, необходимо, с точки зрения автора, дать оценку степени безопасности, которую обещал Pax Romana.

«Римский мир» не означал, пишет он, что провинциалы были теперь ограждены от насилия. Если первые два столетия истории империи принято считать периодом, когда условия существования людей являлись наиболее благоприятными, то это объясняется только тем, что подданные империи несколько меньше терпели от жестокостей войны, болезней, нищеты и голода, чем большинство других обитателей Древнего мира. Многие районы провинций никогда не пользовались благами «Римского мира» в полном объеме. Рим контролировал преимущественно

равнинные территории и речные долины, где проживало большинство населения, тогда как в горных и слабо заселенных пустынных и лесных районах процветал бандитизм, который часто выплескивался за их пределы, угрожая безопасности целых провинций. Большой ущерб рядовым провинциалам наносили деятельность крупных земельных магнатов, в зависимости от которых находилась значительная часть сельского населения, а также насилия со стороны гражданских и военных чиновников, осуществлявших конскрипции и реквизиции в пользу армии, размещение войск на постой. Лозунг *Pax Romana* первоначально означал не более, чем окончание гражданских войн. Но и в этом, главном своем аспекте он оказался иллюзией. Римскую империю даже в лучшие столетия ее существования периодически сотрясали восстания в провинциях и гражданские войны, а также военные мятежи, иногда стихийные, но чаще руководимые амбициозными командующими провинциальными армиями. В течение рассматриваемого периода все основные догматы *Pax Romana* были неоднократно поколеблены. И прежде всего сильным преувеличением оказалась официальная версия о том, что под римской властью провинции пользуются благами нерушимого мира. «Кризис III в.» окончательно развеял миф о *Pax Romana*, в полной мере обнаружив крайнюю степень нетерпимости и вражды, скрывавшейся под его поверхностью (с. 187–189).

Таким образом, отмечает Г.Вулф, *Pax Romana* был подходящим выражением намерений Рима создать мир, свободный от войн. Согласие и безопасность, как утверждалось, были дарованы *orbis terrarum, oikumene*, т.е. всему цивилизованному человечеству, и этот подарок был гарантирован армиями, кольцом окружавшими цивилизованный мир, в рамках которого Рим распространял *humanitas*. «Мир» оправдывал существование империи римлян и сам был ее порождением. Следовательно, пишет автор, *Pax Romana* был идеологической конструкцией, которая обслуживала в первую очередь интересы императоров и политической элиты. Римские граждане в целом больше выигрывали от веры в *Pax Romana*, чем так называемые паломники, т.е. большинство свободного населения провинций, не имевшего прав римского гражданства. Таким образом, формируемое римской властью новое понимание «мира» соответствовало интересам индивидов пропорционально их статусу в рамках нового имперского порядка. Эта идеология, однако, имела свои неудобства: у императоров и их советников, для которых *Pax Romana* был реальностью в наибольшей степени, легко могло возникнуть ложное ощущение безопасности, и драматическую фальшивость их представле-

ний вполне продемонстрировал кризис III в. н.э., имевший почти фатальные последствия для империи (с. 190).

Разумеется, заключает автор, идея Pax Romana не была совершенно ошибочным видением мира, и имперская пропаганда этого образа вносила свой вклад в его установление. Так, Иосиф Флавий описывает, как царь Ирод использует представление о непоколебимом мире в остальной империи в качестве аргумента, призванного удержать иудеев от восстания против Рима, а император Клавдий посылает в Лион копию своей речи в сенате, прокламирующую верность Галлии, чтобы утвердить ее на самом деле. Точно так же и пропаганда Pax Augusta была призвана предотвратить новую гражданскую войну. Тем не менее непрекращающаяся война на границах и периодические нарушения Pax Romana внутри государства показывают, что Римская империя характеризовалась не отсутствием насилия, а тем, что императорам удавалось какое-то время направлять его в приемлемое русло, используя вражду между городами, племенными общинами, солдатами и гражданским населением, между общественными классами и, наконец, внутри элиты для поддержания динамического равновесия, которое не могло сохраняться без их участия. Эта форма правления характеризует тип имперского государства со слабой, хотя и обширной властью, которая поддерживает себя, действуя по принципу «разделяй и властвуй», т.е. предотвращая образование в обществе каких-либо коалиций на основе иных интересов, отличных от интересов власти (с. 191).

*А.Е.Медовичев*

**МЭТТЕН С.П.  
РИМ И ЕГО ПРОТИВНИК:  
ИМПЕРСКАЯ СТРАТЕГИЯ В ЭПОХУ ПРИНЦИПАТА  
MATTERN S.P.**

**Rome and the enemy: Imperial strategy in the principate. —  
Berkeley etc.: Univ. of California, 1999. — XX, 259 p. —  
Bibliogr.: p. 223–244.**

В монографии С.П.Мэттен рассматривается относительная роль географических, военно-стратегических, экономических и нравственно-психологических мотивов в процессе принятия внешнеполитических решений руководством Римской империи в эпоху принципата, точнее — в период от Августа до Александра Севера, характеризующийся относительно неизменной системой центральной власти, провинциальной администрации, армии и финансов. Книга состоит из введения и пяти глав.

В современных исследованиях римской истории, отмечает автор во введении, объяснения выдающихся успехов римлян в войне и имперском строительстве все больше пытаются искать в сфере римского менталитета. При этом все более становится очевидным, что представление о римлянах как о военных стратегах в современном смысле, руководствующихся при принятии решений объективной оценкой разного рода военной, политической и экономической информации, занимающихся сопоставлением своих ресурсов и ресурсов противника, просчитывающих ход и возможные последствия тех или иных действий и решений, является иллюзией. В целом разделяя данный вывод, автор настоящего исследования также концентрирует свое внимание преимущественно на проблеме римского менталитета, ставя главной своей целью выявить мотивы поведения римлян на международной арене, реконструировать



систему ценностей, которой руководствовалась при этом римская элита. Как стремится показать американская исследовательница, международные отношения для римлян были не столько сложной геополитической игрой, сколько яростной борьбой за сохранение имиджа империи. И поскольку имидж выступал как главная политическая цель, римская стратегия была ясной, последовательной и достаточно эффективной в течение длительного времени. Ценность, придаваемая «национальной чести», которая поддерживалась завоеваниями, террором и репрессиями, объясняет неоднократные, часто безуспешные попытки расширения империи и кажущиеся непропорциональными затраты сил на удержание территорий сомнительной стратегической или экономической значимости. Вместе с тем, отмечает автор, было бы ошибкой считать, что римляне полностью игнорировали проблемы численности и распределения вооруженных сил, финансовых расходов на войну, завоевание и оккупацию, которые выступали в качестве главных, реальных факторов, объективно ограничивающих рост империи (с. XI–XII).

В первой главе автор предпринимает попытку определить статус того круга лиц, которые участвовали в выработке внешнеполитических решений, выяснить их интеллектуальный уровень и культурную ориентацию, а следовательно, и степень компетентности в рассматриваемой сфере деятельности. Не следует, однако, как подчеркивает С.Мэттен, распространять современные представления о квалификации и компетентности на общество с иным, чем сейчас, менталитетом. Важно также учитывать различие между древним и современным пониманием внешней политики. Так, провинциальные восстания, подобные паннонскому и далматинскому в 6 г.н.э. или иудейскому в 66–71 гг., рассматривались римлянами как внешние войны.

В эпоху «конституционной олигархии», которая предшествовала режиму Августа и называлась республикой, центральную роль в выработке внешней политики традиционно играл сенат, формально продолжавший выполнять эту функцию и при империи. Однако с установлением принципата его место фактически было узурпировано императором, опиравшимся на совет (*consilium principis*), включавший в основном так называемых «друзей» (*amici*) и «спутников» (*comites*) и генетически связанный с теми неофициальными советами из друзей и родственников, которые формировались при аристократических наместниках провинций и командующих армиями республиканского периода. По своему социальному положению это были, как правило, представители богатой и обра-

зованной сенаторской и всаднической элиты империи. Однако римская аристократия получала образование главным образом в сфере литературы, философии и риторики и очень ценила эти занятия как важную часть своей культурной и классовой идентичности. Но ее представители не были ни экспертами в области экономики, политической науки или военной теории, ни даже людьми, имевшими какой-либо практический опыт в той или иной сфере (с. 16–20).

Фактически, как подчеркивает автор, класс людей, отвечавших за принятие внешнеполитических решений в Риме в I в. до н.э. — III в. н.э., в основном, не отличался от того круга лиц, который оставил после себя грандиозный массив греко- и латиноязычной литературы, очень небольшая часть которого сохранилась до настоящего времени. Писателями, поэтами и философами были многие императоры, полководцы и наместники провинций. Разграничение между литературой и политикой, кажущееся достаточно естественным для современного наблюдателя, должно было выглядеть в их глазах не столь очевидным. Заманчиво предположить, что римские аристократы могли думать иначе и озвучивать иные проблемы, когда они занимались вопросами внешней политики, чем когда они писали историю или эпическую поэму. Однако большинство имеющихся данных, скорее, предполагает противоположное заключение.

Весьма показательно, с точки зрения автора, детальное описание Геродианом совещания императора Комода с «друзьями» по поводу продолжения или прекращения военных действий на дунайской границе в 180 г. н.э. Здесь нет рассуждений о стратегических преимуществах той или иной линии оборонительного рубежа, экономических выгодах, финансовых затратах или людских потерях. Аргументация «друзей» в пользу продолжения войны лежит исключительно в сфере психологии и морали и сводится главным образом к тому, что противоположное решение было бы бесславным, а недостаточная агрессивность подорвала бы безопасность империи, так как прибавила бы варварам самоуверенности. При этом они не рассматривают географические карты и в своем оптимизме относительно достижения того, что они называют «океаном» в качестве желательной границы империи, совершенно недооценивают отдаленности балтийского побережья. И подобные рассуждения, как доказывает далее автор, являлись вполне типичными для римлян при обсуждении вопросов войны и мира.

Однако в значительной степени внешняя политика проводилась императором и его ближайшим окружением не непосредственно, а через наместников провинций или специально назначенных командующих. Некоторые из них, особенно на ранней стадии принципата, даже предпринимали войны по собственной инициативе (как, например, воинственный префект Египта Корнелий Галл, впрочем, более известный своими любовными элегиями, или сменивший его Петроний) и вели переговоры с варварскими вождями. Многие в этой сфере оставались на усмотрение наместников просто в силу географической удаленности пограничных провинций, делавшей невозможным своевременное получение инструкций из центра. Возглавлявшие императорские провинции легаты, как правило, были лицами самого высокого, сенаторского ранга, уже занимавшими прежде должности преторов или консулов. Эта структура управления была унаследована империей от республиканской эпохи. Их компетентность в военном деле происходила главным образом из опыта. Но если в период классической республики претендент на любую государственную должность обязан был принять участие в десяти военных кампаниях, то позднее это правило уже не соблюдалось. Этим объясняется обилие трактатов по тактике, появившихся в течение изучаемого периода и призванных служить пособиями для сенаторов, оказавшихся в роли командующих, но не обладавших ни теоретическими знаниями, ни практическим опытом в военной области. Однако и эти трактаты были преимущественно литературными компиляциями из более древних авторов, а не подлинными военными руководствами, отражающими современную практику. Большинство сенаторов, разумеется, приобретали какой-то административный и военный опыт в ходе своего *cursus honorum*, предполагающего чередование замещения военных и гражданских должностей с относительно коротким сроком пребывания на том или ином посту. Но это не всегда являлось необходимым условием наместничества в провинции с военным гарнизоном. Социальное положение, литературное образование и личная преданность императору выступали главными критериями назначения на высшие должности. Идея о том, что чиновники должны подбираться в соответствии с какими-то иными достоинствами, уже существовала, но она не обязательно включала в число критериев отбора специальные знания или практический опыт (с. 18–19).

Для реконструкции системы взглядов, которыми руководствовалась римская элита во внешней политике, важное значение, по мнению С.Мэттен, имеет вопрос о характере и назначении римских границ, став-

ший в последнее время предметом критического переосмысления. В частности, пишет она, было поколеблено устоявшееся представление о римском лимесе как о тщательно спланированной и рационально построенной системе обороны. Линия границы, как показали исследования, выбиралась не по стратегическим соображениям, а складывалась стихийно. Отсюда следовало заключение об отсутствии у римлян скольконибудь осознанной и долговременной геополитической стратегии, для формулирования которой у них не было ни инструментов, ни информации (с. 21).

Соглашаясь в целом с изложенными тезисами, автор тем не менее справедливо замечает, что невозможность выявить такую стратегию на основе изучения римского лимеса еще не означает ее отсутствия, а лишь то, что мы пытаемся найти ее не там и используем термины («агрессия», «оборона»), которые не способны адекватно ее описать.

Разумеется, отмечает далее С.Мэттен, для построения геополитической стратегии в современном смысле представления римлян о географии и этнографии окружающего мира выглядят явно ущербными. Но если эти знания и лишены необходимого уровня, они основываются на давней и сложной литературной традиции, отражающей определенную систему ценностей, где в конечном счете и следует искать мотивы поведения римлян. В основе этой системы лежала забота о статусе или «чести» империи, главным образом то, как империя (и до некоторой степени сам император) воспринимаются подданными и иностранцами. Символические проявления уважения и подчинения со стороны врагов были целью политики; высокомерие или оскорбление с их стороны являлись немедленными и законными поводами к войне. Устрашение и месть были инструментами поддержания имиджа империи. Римская стратегия, таким образом, по крайней мере частично, определялась моральными и психологическими мотивами. Если ее не так просто проследить по карте, то это отнюдь не означает, что она была неосознанной, «иррациональной» или неэффективной (с. 22–23).

Во второй главе («Образ мира») автор прежде всего обращает внимание на то обстоятельство, что современные карты Римской империи и сопредельных территорий имеют весьма ограниченную полезность для правильного понимания тех мыслительных процессов, которые стояли за внешнеполитическими решениями римлян, поскольку ничего похожего на карты с точным воспроизведением в масштабе контуров поверхности, точной локализацией различных ее элементов, населенных пунк-

тов и границ в римском мире не существовало. Если географические соображения и принимались во внимание, то они основывались на римских представлениях о мировой географии, а более или менее конкретные знания в этой области утрачивали свою конкретность почти сразу же за пределами римских границ, замещаясь отчасти теоретическими, отчасти мифологическими представлениями (с. 55). Этот неисследованный мир казался тем не менее относительно небольшим. Его крайние пределы хотя и были чуждыми и неизвестными, но в то же время достижимыми. И этими пределами со всех сторон был океан. Соответственно, расширение границ империи до его берегов мыслилось как трудное, но выполнимое и крайне славное деяние. Если посмотреть в этом контексте на завоевание Дакии Траяном, то присоединение этой территории, стратегически чрезвычайно уязвимой с современной точки зрения, приобретает известный смысл. Как полагает автор, подлинным ориентиром для императора, скорее всего, служил сам океан, берег которого, по мнению римлян, располагался всего лишь в 399 милях к северу от Дуная (с. 60–61).

Главным источником реальной географической информации была армия. Однако стратегическая разведка отдаленной, обычно враждебной территории, как правило, представляла собой неразрешимую проблему (известно лишь о трех разведывательных экспедициях за пределы империи за весь рассматриваемый период). Поставщиками сведений могли быть также купцы, но в источниках после времени Цезаря нет прямых указаний на их использование в целях военной разведки. Ойкумена, населенный мир, оставалась дикой и таинственной до тех пор, пока римская армия не покорила ее, не измерила и не проложила дороги. Детальные знания о географии того или иного региона становились доступны только после прямой военной интервенции и собирались в процессе самой военной кампании вместе со сведениями этнографического, политического и экономического характера. Эти сведения находили отражение в так называемых итинерариях, т.е. описаниях маршрутов с фиксацией гор, рек, населенных пунктов и дистанций между ними (наиболее известный пример — *Tabula Peutingeriana*, Певтингерова таблица). В дальнейшем они могли использоваться для расчета организации движения и снабжения войск. Таким образом, итинерарии давали полезную, но ограниченную по характеру информацию. Поэтому чаще всего римские полководцы вели свои армии в полностью неизвестные земли, что позволяло римлянам ощущать себя не только завоевателями, но и первооткрывателями новых территорий. В результате становились доступными геогра-

фические знания и более общего порядка. Так, кампании Тиберия и Друза в Центральной Европе позволили открыть истоки Дуная, сделать более достоверными представления римлян о полуострове кимвров (Ютландии) и островах Балтийского моря. Юлий Агрикола в ходе завоевания Британии организовал специальную экспедицию, доказавшую, что она — остров, а не часть какого-то неизвестного материка. В плане расширения и уточнения географических знаний большое значение имели также военные экспедиции в глубинные районы Северной Африки (Корнелия Бальба в 19 г. до н.э., Септимия Флакка и Юлия Матерна во второй половине I в. н.э.), в «Счастливую Аравию» (Элия Галла в 25–24 гг. до н.э.) и в Закавказье (походы Корбулона при Нероне) (с. 28–41).

Значительная часть географической информации поступала в оборот из официальных отчетов сенату, а также записок и «мемуаров» императоров и полководцев. Помимо знаменитых «Записок о Галльской войне» Юлия Цезаря известно, что Тит и Веспасиан оставили записки об Иудейской войне, которые позднее использовал Иосиф Флавий, о Дакийских войнах писал Траян. Авторами «мемуаров» были также Бальб, Корбулон, Септимий Север. Однако все подобные сочинения, как отмечает автор, в большей степени выполняли идеологические, пропагандистские функции, чем излагали достоверные факты (с. 32–33).

В целом, заключает С.Мэттен, географические и этнографические представления римской элиты всегда оставались преимущественно литературными по характеру. Традиционные взгляды на мир и населяющие его народы, восходящие к Гомеру и Геродоту, продолжали пользоваться авторитетом даже тогда, когда новая информация становилась доступной. Все это делает объяснения римской геополитики, основанные на картографическом (как сейчас) видении мира, совершенно неприемлемыми (с. 41).

В третьей главе рассматривается военно-стратегический аспект внешней политики Рима. В эпоху принципата, отмечает автор, империя обеспечивала свою безопасность и даже осуществляла иногда новые завоевания с помощью относительно небольших профессиональных вооруженных сил более или менее неизменной численности. На протяжении изучаемого периода количество легионов возрастало очень медленно: от 25 в конце правления Августа (14 г.н.э.) до 33 при Септимии Севере (на рубеже II–III вв. н.э.). Общая численность войск, включая вспомогательные части, преторианскую гвардию, экипажи кораблей, вероятно,

могла составлять (учитывая недоукомплектованность) не более 400 тыс. человек, а при Севере — максимально 450 тыс., т.е. менее 1% от предполагаемой численности населения империи (с. 83). Другой важной особенностью римской императорской армии было то, что она фактически была армией оккупационной, так как почти все легионы располагались в сравнительно недавно присоединенных провинциях, романизация которых развивалась лишь постепенно. А это означало, что враг был не только за границей римских владений, но и в тылу римских войск. Поэтому в качестве главной их функции античные писатели (Иосиф Флавий, Тацит) выделяют подавление восстаний, которые часто случались не только в новых, но и в старых провинциях, несмотря на жестокие репрессивные меры. Соответственно, формирование новых легионов всегда происходило в преддверии крупной завоевательной кампании и было вызвано необходимостью оставлять сильные гарнизоны на вновь захваченной территории. Впрочем, часто этого оказывалось недостаточно. Так, по-видимому, двух набранных Траяном дополнительных легионов не хватило, чтобы удержать завоеванные на востоке территории, которые вскоре были оставлены по приказу Адриана (с. 100–104).

Важнейшим ограничителем увеличения численности армии, помимо финансовых трудностей, выступала система ее комплектования на основе вербовки добровольцев, хотя принудительный набор граждан на военную службу формально никогда не отменялся. Иногда он использовался в чрезвычайных обстоятельствах. Систематические конскрипции могли бы позволить императорам иметь гораздо более значительные вооруженные силы, но они неизбежно вызвали бы крайнее недовольство в обществе при существовавших тогда условиях и сроках службы. Перспектива провести 25 лет, т.е. фактически всю жизнь (поскольку до отставки доживало не более половины или даже трети легионеров), где-нибудь на окраине известного тогда мира, среди враждебных племен, получая весьма умеренное жалование, не казалась привлекательной, особенно для италийцев. Последние предпочитали службу в преторианской гвардии, более доходную, более короткую и проходившую в самой Италии. Тогда как легионы все в большей степени пополнялись за счет населения провинций, т.е., главным образом, недавно получивших римское гражданство романизированных «варваров». Из тех же варваров, но менее романизированных и не имевших гражданских прав, набирались (чаще всего принудительно) солдаты вспомогательных частей. О трудностях комплектования свидетельствуют факты зачисления в армию в ис-

ключительных случаях даже гладиаторов и выкупленных на волю рабов, а также договоры с соседними варварскими племенами о поставках войск. Неудивительно, что проблема дезертирства в таких условиях стояла очень остро. Так, согласно Кассию Диону, из дезертиров римской армии состояла значительная часть войска дакийского царя Децебала (с. 85–88).

Рассмотренная специфика вооруженных сил Рима императорской эпохи, как подчеркивает автор, была одним из определяющих факторов римской стратегии в данный период. В силу ограниченного размера армии, отсутствия обученных резервов, медленной скорости ее передвижения при существовавших тогда транспортных средствах и грандиозных пространствах империи реакция на крупный военный кризис (будь то массированное вторжение или восстание) всегда оказывалась запоздалой. Для его ликвидации гарнизона отдельной провинции, как правило, было недостаточно. А переброска войск, например, из Сирии на Рейн (или наоборот) сухим путем (около 5 тыс. км) требовала свыше 200 дней, к которым нужно добавить время, необходимое на передачу информации о вторжении, ее оценку и принятие решения, подготовку припасов и транспорта. За это время противник обычно успевал покинуть разоренную провинцию. К тому же концентрация войск в одном регионе неизбежно вела к ослаблению безопасности других. Так, перевод при Марке Аврелии трех легионов и ряда вексилляций с Рейна и Дуная на восток для войны с Парфией (162–166 гг. н.э.) почти немедленно вызвал проблемы на северных границах, вылившиеся в серию затяжных и опустошительных войн (Маркоманнские войны), затронувших даже Северную Италию. Очевидно, пишет С.Мэттен, что при имевшихся в наличии вооруженных силах усилия, направленные на расширение империи или на удержание территорий, ценность которых вызывала сомнения даже у самих римлян, выглядят более или менее иррациональными, если не учитывать, что римская политика в основном оперировала на морально-психологическом уровне, вращаясь вокруг идеи имиджа или «национальной» чести, а не основывалась (или, по крайней мере, не полностью основывалась) на строгом военном и экономическом расчете (с. 108–109).

Этот психологический аспект римской стратегии становится особенно очевиден при анализе системы обороны империи. До недавнего времени, отмечает автор, всеобщим было убеждение, которое отчасти сохраняется и до сих пор, что главной целью римской стратегии в эпоху принципата было установление постоянных, пригодных для обороны границ. Интенсивное развитие



в последние десятилетия так называемой археологии римского лимеса выявило весьма развитую инфраструктуру, представлявшую собой вереницы фортов, соединенных дорожной сетью, а на ряде участков дополненных сплошной линией рвов и валов, оснащенных палисадами и сторожевыми башнями. Однако функция римского лимеса как оборонительной системы весьма проблематична. Судя по эпиграфическим данным, главной задачей гарнизонов фортов было противодействие переходам через границу банд грабителей, а также сбор импортных и экспортных пошлин. Цепи фортов вдоль рек могли, кроме того, обеспечивать безопасность транспортировки товаров и военных поставок. Некоторые пограничные конструкции своим внушительным внешним видом должны были производить глубокий психологический эффект на соседние племена, живущие относительно примитивной деревенской жизнью. В то же время очевидно, что ни одна из структур лимеса не была в состоянии предотвратить ширококомасштабное вторжение, а по-видимому, и не предназначалась для подобных целей (с. 111–114).

Главный вывод автора о том, что подлинные основы римской стратегии следует искать в сфере психологии, лучше всего, с ее точки зрения, иллюстрирует тезис оратора IV в.н.э. Фемистия, согласно которому, скифов (т.е. готов) и римлян разделяют не река, не болота, не укрепления, так как все это можно преодолеть или разрушить, но страх, который не позволяет сделать это (с. 115). Оборона империи, таким образом, базировалась преимущественно на том ужасе, который она внушала соседним племенам и народам, на вере врага в неотвратимость возмездия. И если римляне не могли помешать прорыву врага на том или ином участке границы, то единственным достойным с их точки зрения вариантом реагирования на ситуацию было ответное вторжение на территорию противника после завершения концентрации необходимых для этого сил. Все подобные экспедиции, отмечает автор, имели целью отомстить, наказать, запугать врага, т.е. вернуть его к тому состоянию сознания (состоянию страха перед Римом), которое и обеспечивало защиту границ (с.117).

Дипломатия, как еще один инструмент установления отношений господства — подчинения, также, разумеется, играла важную роль в поддержании мира. Империя во все времена находилась в центре сложной сети союзов и договоров, к которым, как считалось, в идеале должны были стремиться варвары, а Рим должен был диктовать свои условия. Однако, с точки зрения римлян, эти договоры не могли работать до тех пор, пока варвары не утрачены. Предполагалось, таким образом, что соблюдение ими условий согла-

шений и сохранение мира с Римом мог обеспечить только страх перед римским оружием. Эта «стратегия устрашения», как показывает далее С.Мэттен, являлась традиционной моделью поведения римлян на международной арене во все периоды их истории (с. 119).

Четвертая глава посвящена экономической стороне римской внешней политики, главным образом проблеме соотношения чисто экономических и иных (социальных, моральных и т.п.) факторов в представлениях римлян о цене войны и завоеваний. Согласно некоторым подсчетам, расходы на содержание армии составляли подавляющую часть (от 2/3 до 3/4) бюджета государства. И если размер этой армии был относительно небольшим, то, как отмечает автор, это, видимо, были максимальные силы, которые империя была в состоянии содержать (с. 126). Войны были весьма дорогостоящим предприятием. По свидетельствам современников, они опустошали казну и тяжелым бременем ложились на провинции, особенно на те, которые примыкали к театру военных действий, где концентрировалась основная масса войск. Вместе с тем добыча, особенно в виде драгоценных металлов и рабов, была наиболее очевидной компенсацией военных издержек. Иногда объем ее был настолько велик, что оказывал существенное воздействие на экономику. Так, согласно Иосифу Флавию, разграбление Иерусалима, захваченного войсками императора Тита в 70 г.н.э., привело к падению стоимости золота в Сирии наполовину. Кроме несомненных экономических выгод, военная добыча заключала в себе огромную престижную ценность, символизируя унижение врага (с. 151–152).

Помимо добычи были и другие потенциальные выгоды войны. Присоединение новых провинций повышало (иногда очень значительно) доходы римского государства в результате увеличения числа налогоплательщиков и приобретения новых источников минеральных ресурсов. И это обстоятельство, возможно, являлось одним из важных факторов, определявших принятие внешнеполитических решений. Однако, пишет автор, подлинно прибыльные войны Рима остались в прошлом, в эпохе великих завоевательных походов времен республики. Единственным действительно доходным военным мероприятием имперского периода явилось завоевание Траяном Дакии. Впрочем, отмечает С.Мэттен, трудно сказать, мог ли Траян ожидать каких-то особо выгодных результатов до начала интервенции. Захват казны Децебала и рудников явился, скорее, результатом, а не целью его кампании. Большинство же войн эпохи империи велось против бедных народов, и они, по сути, были убыточными для Рима. Именно низкая доходность войн периода принципата и

«бесполезность» территорий, оставшихся за пределами империи, отчасти объясняет, с точки зрения автора, гораздо более низкий темп завоеваний в рассматриваемую эпоху по сравнению с предшествующей (с. 159–160).

В целом, несмотря на то, что экономические соображения без сомнения играли определенную роль в военных решениях римлян, чисто экономическая модель их принятия не находит подтверждения в источниках. Ярким примером здесь служит Британия, которая на всем протяжении своего существования в качестве римской провинции являлась скорее своего рода «черной дырой» для финансовых ресурсов империи, чем источником дохода. Но римляне удерживали ее с яростным упорством, демонстрируя ту известную по античным источникам истину, что однажды завоеванное не может быть утрачено без ущерба для чести и славы. Точно так же и для покорения Дакии Траяну потребовались едва ли не половина всей римской армии и огромные денежные ресурсы. Правда, колоссальные военные усилия Рима были вознаграждены богатой добычей и приобретением золотых рудников. Однако, отмечает автор, необходимо иметь в виду, что Дакийские войны, несмотря на всю их грандиозную стоимость в плане как материальных, так и человеческих ресурсов, произошли бы даже при отсутствии каких-либо надежд на прибыль. Для Траяна и его советников важнее были другие соображения. Дакийский царь унизил Рим, нанеся поражение римской армии и принудив заключить позорный для империи мир, а это не могло быть оставлено без отмщения. Обе войны с даками (101–102 и 105–106 гг. н.э.) были, таким образом, войнами возмездия и наказания. И именно по этой причине император оказался готов задействовать военные и финансовые ресурсы гигантского масштаба. Следовательно, проблема имиджа встает здесь как несравненно более важная, чем простой экономический расчет (с. 161, 209–210).

В заключительной главе автор более подробно анализирует ту систему ценностей, на которой строилась внешняя политика Рима. Разумеется, пишет С.Мэттен, превосходство Рима над варварами в конечном счете обеспечивалось превосходством его военной силы. Однако наиболее существенным элементом в этой системе взаимоотношений было состояние умов в стане врага: безопасность империи зависела от способности Рима внушать благоговение и ужас. Свое силовое превосходство Рим постоянно должен был доказывать посредством победоносных войн и завоеваний. Никакое военное поражение не могло оставаться неотмщенным, а нарушение договора или восстание — безнаказанным. Воз-

мездие всегда должно было быть максимально агрессивным, сопровождаться вторжением, репрессиями и даже геноцидом. Завоевания, совершаемые в порядке устрашения и мести, считались «справедливыми» и «необходимыми». Проявления слабости (как, например, недостаточная месть за нападение или недостаточная жестокость при подавлении восстания) могли рассматриваться врагом как сигнал к выступлению против Рима. Как государство, пишет С.Мэттен, римляне, таким образом, вели себя на международной арене подобно гомеровским героям, мафиозным гангстерам или членам любого другого сообщества, в котором статус и безопасность зависят от способности применять насилие, и любая иная модель поведения в тех условиях была невозможна (с. 171–184).

Ценность, придаваемая войне и завоеваниям, хорошо просматривается также в римской концепции дисциплины, которая, с точки зрения самих римлян, в значительной степени объясняла их успехи в создании и сохранении империи. Помимо организационно-тактического, она включала и крайне важный моральный аспект. *Disciplina*, или *askesis* (греч.), противостояла роскоши и упадку и разрушалась от бездеятельности. У всех античных писателей она выступает как главное отличие римской армии от войск варваров. Организованность, самоконтроль и способность к постоянному тяжелому труду обеспечивали превосходство легионов. Барельефы колонны Траяна изображают римских солдат, постоянно занятых работой по постройке фортов, дорог и мостов, тогда как варвары вызывающе ленивы. Римляне, следовательно, прекрасно понимали важность того, чтобы армия всегда находилась при деле, ведя боевые действия, выполняя различные работы, проводя тренировки и учения. В эпоху принципата неоднократно высказывалось глубокое убеждение в том, что длительный мир является источником разложения, избежать которого можно только благодаря внешней войне. Иногда военные кампании предпринимались именно с целью подтянуть дисциплину в ослабленных бездействием легионах (с. 203–206).

Со времен античности предпринимались попытки объяснить феномен Римской империи. Еще во II в. до н.э. греческий историк Полибий полагал, что движение римлян к мировому господству было продуктом осознанной политики (Pol., I. 1.8; I. 63–64). Историки Нового времени полностью отвергли эту идею. Для объяснения римской экспансии была выдвинута теория «оборонительного империализма», согласно которой римляне осуществляли завоевания с целью обеспечить свою безопасность и, как правило, в ответ на провокационные действия других народов. В последние годы эта теория вышла из моды, но, как считает автор,

проведенное исследование показывает, что она внесла ценный вклад в понимание природы римского империализма в том смысле, что сами римляне вряд ли не согласились бы с ней. Современные историки полагают также, что римская экспансия была результатом серии случайных решений и никогда не планировалась в сколько-нибудь долговременной перспективе. И этот тезис, с точки зрения автора, также звучит убедительно. Но тогда, заключает С.Мэттен, объяснение конечного результата — создание империи — следует искать в чем-то другом, например, в системе ценностей римского общества, среди которых *honor* («честь»), *fama* («слава»), *dignitas* («достоинство»), *maiestas* («величие») и т.п. составляли основу римской внешней политики. Было бы ошибкой описывать действия римлян как «агрессивные» или «оборонительные». Более точно их передают такие понятия, как «оскорбление» и «месть», «террор» и «уважение», и т.п., а сама «большая стратегия» Рима предстает как комплекс идей, представлений и ценностей (с. 216–222).

*А.Е.Медовичев*

**СПЕЙДЕЛ М.П.  
ВЕРХОМ ЗА ЦЕЗАРЕМ:  
КОННАЯ ГВАРДИЯ РИМСКИХ ИМПЕРАТОРОВ  
SPEIDEL M.P.**

**Riding for Caesar: The Roman emperor's horse guards. — Cambridge (Mass.), 1994. — 223 p. — Bibliogr.: p. 218–223.**

Монография посвящена истории римской императорской конной гвардии в период от Цезаря до Константина. В источниках, пишет автор, они фигурируют как *Batavi*, *Germani corporis custodes* и *equites singulares Augusti*. Однако все эти названия служили в разное время для обозначения одного и того же подразделения, состоявшего из 400 воинов при Цезаре, 1 тыс.— при Траяне, 2 тыс. — при Септимии Севере и 3 тыс. — в эпоху Поздней империи. Надписи и изображения на погребальных и посвященных стелах и алтарях, триумфальных колоннах и арках, произведения античных писателей в совокупности дают значительную массу сведений о карьерах этих воинов, их вооружении, системе подготовки, обязанностях, роли в военной организации Римской империи, этническом и социальном составе.

В главах 1–3 рассматриваются этапы истории императорской конной гвардии. При этом за точку отсчета автор берет 52 г. до н.э., когда в своих «Записках о Галльской войне» Цезарь впервые упоминает о состоявших при нем лично 400 *equites Germani*, которых он бросил в атаку в критический момент сражения при Новиодуне. Появление этих

всадников в армии Цезаря автор относит ко времени после 57 г. до н.э. Именно тогда был заключен союз с некоторыми германскими племенами к востоку от Рейна, в частности с убиями. Позднее, при императорах династии Юлиев-Клавдиев, убии наряду с батавами составляли большую часть конной гвардии. Возможно, полагает автор, что такая ситуация сложилась уже при Цезаре (с. 12–13).

Таким образом, Цезарь явился основателем императорской конной гвардии и, следовательно, создателем одного из важнейших институтов новой монархии. Позднее Август также использовал германцев в качестве телохранителей, назвав их *Germani corporis custodies*. Известно, были ли телохранители Августа всадниками. Однако тот факт, что они назывались также *Vatavi*, как и конная гвардия III в. н.э., позволяет рассматривать их как кавалерийское подразделение. Батавы считались лучшими наездниками, и императорский легат Нижней Германии имел полномочия выбирать кандидатов в конную гвардию из числа племенных воинов, сумевших доказать свое всадническое искусство и боевое мастерство (с. 16).

После сокрушительного разгрома римской армии в Тевтобургском лесу в 9 г. н.э. Август распустил своих германских телохранителей. Последние, несомненно, сохраняли связи со своими соплеменниками за Рейном, и в их лояльности можно было сомневаться. Но пять лет спустя, в начале правления Тиберия, германские гвардейцы снова появляются в Риме. В середине I в. н.э. их, по-видимому, насчитывалось 1 тыс. человек, поскольку Иосиф Флавий называет их командира хилиархом (*chiliarchos*), т.е. «тысяченачальником». В латинском варианте он носил титул *curator Germanorum*. Командиры отдельных «эскадронов», которыми очень часто выступали императорские вольноотпущенники-гладиаторы, негерманцы по происхождению, назывались декурионами. При этом старший декурион, вероятно, как раз и исполнял обязанности *curator*'а. Так, например, в последние годы правления Нерона командиром *Germani corporis custodes* был гладиатор и вольноотпущенник Тиберий Клавдий Спикул (с. 29).

В период с 69 по 98 г. н.э. *Germani corporis custodes* не упоминаются ни в литературных, ни в эпиграфических источниках. Создается впечатление, пишет автор, что императоры династии Флавиев вообще обходились без конной гвардии. Однако это вряд ли возможно. Разумеется, Веспасиана Флавия полностью поддерживали провинциальные легионы, в силу чего потребность в значительных дворцовых войсках

была гораздо меньшей, чем у его предшественников. Примечательно, что если предшественник Флавиев, Вителлий, довел число преторианских когорт до 16, то Веспасиан сократил его почти в два раза. Тем не менее, полагает автор, Флавии, несомненно, должны были иметь какую-то личную охрану. Это не могли быть *Batavi*, поскольку против них при Веспасиане велась полномасштабная война. Возможно, отмечает М.Спейдел, он перевел в Рим своих личных *singulares*, служивших при штабе его армии на Востоке. Известно, что уже во время осады Иерусалима в 70 г.н.э. Тит Флавий держал при себе охрану из 600 (или более) всадников, включая некоторое число конных лучников. Набранные из лучших солдат кавалерийских подразделений (*alae*) восточной армии Рима, эти *equites singulares* в принципе не отличались от обычных конных телохранителей командующих провинциальными армиями, но теперь они служили императору и, соответственно, назывались *equites singulares Augusti* (с. 36).

Вероятно, Веспасиан объединил их с преторианскими всадниками. Последних насчитывалось по крайней мере 400, а возможно, и 1 тыс., из 10 тыс. преторианцев. Подобно всадникам легионов, они принадлежали не к кавалерийским «эскадронам» (*turmae*), а к пехотным *centuriae*, и не имели собственного особого командования, наподобие обычных кавалерийских «унтер-офицеров» (*signifer, sesquiplicarius, duplicarius* и *decurio*). Однако, как и легионная конница, они могли сражаться как подлинная кавалерия, а не только служить в качестве ординарцев, посыльных или телохранителей при преторианских офицерах. Элиту преторианской кавалерии в I в. н.э. составляли так называемые *speculatores Augusti*, также выполнявшие функции личных телохранителей императора. Они эскортировали принцепса в уличной толпе, стояли за его спиной на играх и отвечали за его безопасность на поле битвы. Само название — *speculatores* — раскрывает их происхождение: разведка требовала столь подготовленных людей, что разведывательные подразделения римской армии использовались и как телохранители полевых командиров. Но в отличие от «разведчиков» провинциальных армий столичные отборные воины назывались *speculatores Augusti* (с. 35).

Со времени Траяна возрождается практика набора конной гвардии из германцев. До своего провозглашения императором Траян был наместником Нижней Германии и в этом качестве имел собственных *equites singulares consularis*. Набранные из состава кавалерийских ал этой провинции, они происходили главным образом из батавов, убиев и других племен, поставлявших в прошлом *Germani corporis custodes* для Юлиев-



Клавдиев. В январе 98 г. н.э. Траян стал императором, а его германские телохранители — *equites singulares Augusti*. Новым гвардейцам в силу их происхождения было также возвращено прежнее название — *Batavi*, которое сохранилось за ними и в следующем столетии (с. 38–39). Но в отличие от *Germani corporis custodes* эпохи Юлиев-Клавдиев новые *equites singulares* уже не считались иностранцами благодаря далеко зашедшему процессу романизации провинций. Судя по надписям, они носили вполне римские имена и, возможно, имели римское гражданство. Их подразделение (*numerus*) возглавлялось трибуном и «унтер-офицерами», имевшими общие для всей римской кавалерии титулы. Размещенная в особом лагере на Целийском холме Рима недалеко от императорской резиденции, германская конная гвардия служила своего рода противовесом преторианской гвардии, нередко присваивавшей себе роль вершительницы судеб империи, принимавшей активное участие в заговорах и государственных переворотах. Не случайно, по-видимому, при Траяне функции императорского эскорта, являвшиеся прежде привилегией преторианских *speculatores*, переходят теперь к *hastilarii* из числа *singulares Augusti* (с. 43–44).

Следующий этап истории императорской конной гвардии начинается с приходом к власти в 193 г.н.э. наместника Верхней Паннонии Септимия Севера. Первым же его актом после вступления в Рим был роспуск прежнего состава мятежной преторианской гвардии, укомплектованной главным образом италиками. Новых преторианцев Север набрал из лично преданных ему солдат дунайских легионов, которые и провозгласили его императором. Из придунайских провинциальных кавалерийских частей происходили теперь и солдаты конной гвардии. Системы комплектования обоих видов гвардейских подразделений стали идентичными. Все они пополнялись особо отличившимися воинами, прослужившими определенное число лет (не менее четырех) в приграничных войсках — легионах или *auxilia*. Зачисление в столичные гвардейские части рассматривалось как своего рода благодеяние, *beneficium*, и, согласно традиционным римским понятиям, создавало между облагодетельствованным (в данном случае воином) и благодетелем (в данном случае императором) особую форму обязательственных отношений. Перевод на службу в столичную гвардию являлся наиболее желанным бенефицием для солдат приграничных частей, а само существование такой практики выступало важным стимулом сохранения верности императору. *Equites singulares* и преторианцы, выдвинутые из массы своих това-

ришей по службе в провинциальных армиях, должны были осознавать, что своим выдвижением они обязаны только принцепсу. Вместе с тем последний зависел теперь от своих гвардейцев не только в плане личной безопасности, но и в силу их тесных связей с полевыми войсками (с. 58).

При Севере происходит также удвоение численности конной гвардии с 1 тыс. до 2 тыс. воинов. Соответственно, на Целии рядом со старым лагерем сингуляриев (*castra priora*) строится еще один укрепленный лагерь (*castra nova*). Оба они функционировали вплоть до IV в. н.э., когда в 312 г. император Константин упразднил как преторианскую гвардию, так и *equites singulares Augusti*. Место последних заняли *scholae palatinae* — пять отрядов численностью по 500 человек каждый. Всадники *scholarii*, набираемые, как и прежде, из приграничных частей, обеспечивали теперь безопасность императора, подготовку кадров кавалерийских офицеров и служили в качестве стратегического резерва. Многие из них были германцами с Нижнего Рейна, но уже не батавами, а франками, алеманами и готами (с. 76).

В главах 4–9 более подробно рассматриваются вопросы комплектования конной гвардии, ее этнический и социальный состав, структура командования и порядок служебных карьер, вооружение, система обучения и тактика ведения боя. Основными критериями отбора гвардейцев, пишет автор, разумеется, были бесстрашие, сила и боевой опыт, но учитывались также и чисто внешние данные — красота и рост. Если средний рост римлян был около 170 см, то у «лейб-гвардейцев» он превышал 185 см, т.е. был больше, чем у солдат *Kaiserkompagnie* прусского короля Фридриха Вильгельма I. В принципе, отмечает М.Спейдел, комплектование гвардии людьми с такими физическими данными не могло представлять особых затруднений. Учитывая, что ее численность во II в.н.э. составляла 1 тыс. человек, ежегодная потребность в новом пополнении не могла превышать 70 человек при 20-летней продолжительности службы (с. 78–79).

Социальный состав императорской конной гвардии, несмотря на наличие в ней людей различного происхождения, в том числе и бывших рабов, в целом все же был аристократическим. При Августе и Юлиях-Клавдиях в ней преобладала аристократия союзных с Римом германских племен, во II–III вв. н.э. — муниципальная аристократия римских провинций, а в IV в. — снова военная знать варваров. При этом, как показывает анализ погребальных стел *equites singulares Augusti*, до 193 г.н.э.

(т.е. до Северов) в составе конной гвардии явно преобладала муниципальная аристократия кельто-германских провинций (свыше 50%), а после 193 г. — паннонских и фрако-дакийских (до 70%). Число же выходцев из Передней Азии и Северной Африки никогда не поднималось выше 9% (с. 80–83).

Однако командиры конной гвардии, в отличие от командиров легионов, вспомогательных ал и когорт, принадлежавших к двум высшим сословиям империи — сенаторскому и всадническому, ни-когда не были аристократами. В I в. н.э., как уже говорилось, начальство над *Germani corporis custodes* чаще всего поручалось преданным императорским вольноотпущенникам из числа бывших гладиаторов. Во II–III вв. командирами *equites singulares Augusti* были трибуны из числа *primipilares* — бывших первых центурионов легионов, наиболее испытанных и надежных офицеров римской армии, выдвинувшихся из рядовых профессиональных солдат и имевших за плечами не один десяток лет службы. Их социальное происхождение почти исключало участие в аристократических заговорах. Низший уровень командования составляли декурионы («десятники»), каждый третий из которых считался старшим и возглавлял отряд из 30 воинов (*turma*). Они составляли элиту конной гвардии, и первым «солдатским императором» в 235 г.н.э. стал именно Юлий Максимин, в прошлом декурион *equites singulares* (с. 99–111).

Фундаментальной проблемой принципата, пишет автор, было сохранение контроля над армией. Одним из ответов основателя режима принципата, Октавиана Августа, на эту острую проблему стала гвардия, а одним из первых официальных актов его правления было удвоение жалования гвардейцам. Набранные из провинциальных подразделений, они как бы представляли в Риме приграничные *auxilia*. При этом они сохраняли связи со своими соратниками на дальних рубежах империи и даже назначали их наследниками в своих завещаниях. Являясь источником информирования императоров о настроениях и потребностях остальной армии, гвардия, таким образом, выступала в роли связующего звена между правителем и его воинами.

Другим путем укрепления контроля над армией было назначение гвардейцев офицерами в расположенных в провинциях войсках. Относительно *Germani corporis custodes*, пишет автор, этого нельзя утверждать из-за отсутствия соответствующих данных. Да и вряд ли подобная практика могла существовать в силу их иностранного или полуиностранного происхождения. Однако точно известно, что во II–III вв. н.э. многие

*equites singulares Augusti* после ряда лет службы в гвардии назначались декурионами в кавалерийские алы провинциальных армий (с. 147).

Таким образом, заключает автор, императорская конная гвардия, помимо всего прочего, являлась и своего рода «военной академией» для римской кавалерии. Причем эта ее роль все более возрастала по мере роста значения кавалерии в целом в римской армии и прогрессирующего упадка пехотных легионов. Система продвижения воинов из провинциальных армий в столичную гвардию, а затем обратно с повышением в приграничные войска решала одновременно две задачи: поддержание лояльности армии к императору и усиление ее боеспособности за счет роста квалификации командного состава. Такая система отвечала как чаяниям солдат, так и потребностям правителей, и, как подчеркивает автор, в этом состояла подлинная «тайна империи» (с. 151).

*А.Е.Медовичев*